



Юрий Лоциц

**ЭПИЧЕСКИЕ
ВРЕМЕНА**

Юрий Михайлович Лоциц

Эпические времена

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43127850

Эпические времена. Повести: ИД «Городец»; Москва; 2019

ISBN 978-5-907085-18-3

Аннотация

Три повести, вошедшие в автобиографическую книгу «Эпические времена», похоже, никак не могли ограничиться лишь частными зарисовками из детских лет автора. В «семейную хронику» неминуемо ворвались скрежеты, вопли и корчи великой, всесветной беды, – которую довелось испытать всей «стране Советов», ввергнутой в противостояние многоязыкой фашистской орде. Отсюда и имя книги.

Но в названии обозначена и иная историческая панорама.

Миновав тысячелетия «медленного шествия» по накатанным путям патриархальных традиций, человечество на всех парах «технического перегрева» вламывается в сроки, чреватые всесветным крахом. И здесь уже не идеологии, партии и режимы «рулят», а ими помыкают самонадеянные, отдающие коллективным бредом иллюзии и схемы.

Содержание

Мои домашние святые	6
Три фотоснимка	6
На телеге	18
Четвертый снимок	24
Гончар	28
Глечик	32
Красуля	35
Собачья халабудка	41
Дратва	46
Драбы на и горйще	51
Ванночка	63
Странный немец	72
Рассказ про собаку	87
Зеленый глазок	96
Исход	100
Пан	104
В подвале	108
Семечки подсолнуха	112
Наши йдутъ. Седой	117
Сжигание лоз	125
Добро	133
Тарас	139
День бесконечный	146

Конопля	166
Первая притча	176
Ток	187
Конец ознакомительного фрагмента.	188

Юрий Лошиц
Эпические
времена. Повести

© Ю.М. Лошиц, 2019

© Издательский Дом «Городец», 2019

* * *

Мои домашние святые

Повесть



Три фотоснимка

В семейном альбоме, который мои отец и мама завели еще до войны, судя по простецкому и тощеватому облику книжки, до сего дня сбереглись, несмотря на огнедышащее соседство этой самой войны, несколько фотографий обоих моих дедов и бабушек, маминых сестер в пору их юности, старше-

го отцова брата, его жены. Иногда ловлю себя на том, что гляжу на лица тех, кого уже давно нет в живых, с каким-то почти молитвенным чувством. И подступает догадка: тонкое это веяние исходит и передается не от меня, но от них самих. Это они смотрят на меня неотрывно, взыскующе, с поистине молитвенной собранностью, будто в силах огородить если не от всех подряд, то хотя бы от самых губительных в будущем нападений.

В такие минуты созерцания заветных душе образов ищу и всё не нахожу самых верных для них слов. И вдруг, уверясь вполне в праве на такой порыв, говорю себе: нет, не надо больше никаких определений для них искать, потому что они – *мои домашние святые*.

Не такой ли именно порыв, обращенный к ушедшим от нас родным, присущ тысячам тысяч совершенно неизвестных друг другу людей, не обязательно современников? И кто нас осудит за то? Кто запретит нам раз от раза полниться уверенностью, что святых людей на самом деле на свете пребывает неизмеримо больше, чем записано поименно в святцах различных вероисповеданий? Кто помешает нам однажды осознать: в глубинах своего смиренномудрия эти не сосчитанные и не причисленные домашние наши святые оградили себя какого-то особого свойства согласиём. Что если Сотворшему вся и всех эти тихие души, их круг и подлинное число нужны для каких-то совершенно иных заданий и служений, не нуждающихся в снятии с них таинственного по-

крова?

Не с этим ли честносердечием во взоре и ты глядишь на нас, дед мой, – а для кого-то из моих уже прадед и прапрадед – Фёдор, Феодор Константинович Лошиц, солдатский сын, старший писарь 61-го Владимирского полка, беспорочно отслуживший свой воинский призывной срок на польском западе Русского Царства, в граде Белостоке, при государе императоре Александре III? Это тебе как писарю «старшего разряда», безусловно владевшему при твоём белорусском крестьянском происхождении письменной и устной русской речью, доверено было вести всю служебную переписку родного полка, а значит, знание и соблюдение, наравне с командиром части, ее военных тайн и архивных секретов. То есть, ты, догадываюсь, никак был нечета известному по расхожим сюжетам ротному грамотею-писарчуку, что помогает безграмотным солдатикам составлять письмеца в родные деревни, – но вряд ли отказывался при случае и от таких просьб своих однополчан. И хотя ты перед фотографом уже в гражданском костюме, при светлом цивильном галстуке, но стоишь осанисто, навытяжку, с бодро закрученными усами, как будто, если окликнет тебя с улицы воинский горн, тотчас прямо из павильона ступишь в строй.

Слева же от тебя не сидит – поистине восседает, – стройна яко свеча, пальцы рук волево собрала в кулачки, покоит их на коленях – супруга твоя верная Татьяна, родившая тебе четверых сыновей, которым и имена при крещении нарече-

ны – не осознанно ли? – из царственного обихода: Александр (скончался в раннем детстве), Николай, второй Александр, наконец, Михаил – мой отец.

Отец-то мой и вспоминал много-много позже, что, в отличие от мужа своего, родительница в грамоте была не очень успешна. Чтобы хоть как-то управиться с этим изъяном, держала при себе дневничок, занося в него краткие пометы такого, к примеру, свойства: «*Наша Роза атилилас...*» Но зато, удивительное дело, она при этом истово пела в сельском церковном хоре. А значит, знала на память десятки урочных тропарей, канонов, стихир, – так что я иногда, думая о ее осмысленной певческой памяти, сокрушаюсь: да это как раз мы, в отличие от моей бабушки Тани, то и дело остаемся при наших средних и высших образованиях законченными невеждами.

А справа от нее на том снимке – Максим Степанюк, родитель ее сидит, механик фарфоровой фабрички из новгород-волынской Городницы. Он – единственным из четырех моих прадедов сохранился до XXI века в фотографическом запечатлении. Будто соответствуя такой выпавшей ему удаче, глядится молодцом: острый соколиный взгляд из-под картуза с блестящим козырьком, густая темная бородка, в разлет завитые, как и у зятя Федора, усы; опять же и галстук повязан поверх поднятого воротника белой рубахи. Большими натруженными дланями прижимает к себе внука Колю, тоже глядящего перед собой умно и неотрывно, несмотря на пя-

тилетний, по моей прикидке, возраст. Значит, к фотографу ходили, думаю, около 1910 года, поскольку дядя мой Коля родился еще в 1905-м.

Какая же, однако, матёрая давность! Лишь через четыре года загремят фронты Первой мировой, для них же, кто на снимке, – а теперь снова и для нас! – Отечественной. И лишь через 12 лет после того фотографирования в семье народится последний их по счету сын.

В начале 1917-го, почувствовав, что она снова в положении, Татьяна Максимовна отправилась на обследование (семья жила на ту пору в Одессе) к знакомому врачу. Он напрямик, жестко отсоветовал рожать, посчитав, что организм ее уже не справится с чрезвычайным испытанием. Представляю, как она, чуть отпрянув станом, сжав на дрогнувших коленях пальцы в кулачки, выслушивала приговор себе и плоду своему. Набожная женщина пренебрегла мнением доктора, решив положиться во всем на Господню волю. С врачом этим она снова увиделась лишь после того, как благополучно родила. Столкнувшись с ней в больничном коридоре и заметно смутившись, он развел руками: «Ну, что же, и мы, врачи, нередко ошибаемся».

Бабушка Таня запечатлена еще на одной фотографии, тоже из самых для нашей семьи драгоценных. Хотя автор снимка разместил здесь немало народу, узнать ее мне не составляет труда. И в пожилом возрасте не изменяет ей статность, с которой восседает в самой середине композиции. И

с неизменным кулачком-щепотью покоится на ее колене загорелая левая рука. А правой обнимает за плечишко первого своего внука – Колю, Колюнчика, белобрысого и белобрового трехлетнего мальчика, моего двоюродного братца. Татьяна Максимовна – в центре внимания фотомастера не только по годам своим, но и потому, что это к ней, к ее хате на станции Мардаровка, что в ста пятидесяти километрах к северу от Одессы, сегодня отовсюду пришли и приехали родичи и гости.

Справа от нее сидит, важно перекрестив руки на груди, благодушно прищурившись, будто попыхивая в свои вислые усы, второй мой дед, крепко уже лысый Захар Иванович Грабовенко, колхозник из села Фёдоровка, что в двенадцати километрах от станции. Рядом с ним – Дарья Яковлевна, его супруга, тоже моя бабушка, из того же Фёдоровского колхоза. За ними, во втором ряду, стоят мои родители – улыбающийся отец в белой рубашке, мама, сдержанно-сосредоточенная, в скромном пиджачке, – он и она положили по одной руке на плечи деду Захару, словно прося покровительства, как у самого старшего в родстве мужчины.

А вот деда Федора уже почти десять лет как нет в живых. Будь он здесь, родители мои, думаю, именно ему положили бы руки на плечи в старинном крестьянском жесте особого почитания.

Но еще не всех я назвал. Вот и тетя Нина стоит за спиной у свекрови, молодая, невеличка ростом, красивая жена папи-

ного старшего брата Николая, который сам по какой-то уважительной, значит, причине в этот час отсутствует. Слева от бабы Тани сидят мамина старшая сестра, тетя Лиза, моя будущая крёстная, и ее муж дядя Ефим Кущенко. У тети Лизы на руках пристроилась маленькая босоножка Тамарочка, тоже моя двоюродная. И эти трое – из Фёдоровки.

Но где же я-то сам?

А еще нет меня на белом свете. Правильней сказать, я уже есть, но не вполне здесь, не на виду. Потому что еще подрёмываю, потягиваюсь у мамы в мягко-теплом лоне. Оттого-то она и предпочла укрыться в тени от камеры, ее механического глаза, – за спиной у бабушки Даши.

Слегка рассеянный свет, благодатный день лета 1938 года. Все одеты празднично, хотя и скромно. У бабушек белые блузы с отложными воротниками поверх темных пиджаков, светлые льняные юбки. Лица и руки у взрослых смуглы от рабочего загара.

Похоже, лишь недавно поднялись из-за обеденного стола, вышли из хаты, белеющей у них за спинами, вынесли стулья, табуретки, расселись, доверясь вкусу мастера групповых съемок.

И опять не всех назвал. Кроме ближней родни еще вижу наверху и с краю двоих: он – в темной фуражке с красной звездой на околыше, в темной же гимнастерке. Может, железнодорожник? Или сотрудник пристанционной почты?

А она? О, эта красавица-хохлушка, кажется, прямиком с

киноэкрана сюда приплыла – то ли от Довженко, то ли от Пырьева. А если не от них, то к кому-то из них вскоре уплы-вет, не увернется. До чего светлая, лишь не во все еще зубы, улыбка! Потому что если бы во все, то, как сама догадыва-ется, целое общество сиянием бы своим затмила.

Гляжу на них, и почти невозможно представить, что еще несколько лет назад они пухли от голода, радовались, как манне небесной, похлебке из лебеды, лакомством считали отломок жмыха размером в детскую ладонь...

Но сегодня для них – добрый, кружащий головы вдох-вы-дох самой жизни. И такой неколебимой представляется на-дежда, что жить отныне будут от лучшего к лучшему, совсем в духе свежего, бодрого девиза, который у всего СССРа те-перь на слуху: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало ве-селее...»

А что же, разве не так? Мама моя, закончив Балтский педтехникум, уже сама преподает в начальных классах боль-шой сельской школы. Там же, в райцентре Валегоцулово, повстречались-полюбилились друг другу она и мой отец. Сам он, когда еще доучивался в мардаровской семилетке, при-нят был телеграфистом на почтовое отделение при станции, быстро, на полуголодный живот, освоил азбуку Морзе, что-бы рассылать служебные депеши в ту же Одессу, в Раздель-ную, в Котовск, Тирасполь, по другим железнодорожным уз-лам и адресам. А теперь, как и юная жена, работает в Вале-гоцулове, утвержден секретарем редакции районной газеты

«Ударник социализма».

А незадолго до того, как им всем сфотографироваться, – в Фёдоровский колхоз, где дед мой Захар Грабовенко трудится на свиноферме, поступило сверху, из областного центра, небывалое распоряжение. Правление «колхоза» обязано, не мешкая, представить документы на этого своего стахановца производства, поскольку он систематически получает на круг по двадцать одному деловому поросенку от каждой свиноматки, и, значит, дело подвигается к присвоению ему высокого звания Героя Социалистического труда!..

Но пора мне разглядеть хотя бы бегло еще одну фотографию. В ноябре следующего, 1939 года, моего отца в числе прочих допризывников вызвали в райвоенкомат села Валегоцулово. Мне на тот час было уже одиннадцать месяцев от роду, и повестка, принесенная на квартирку, которую снимала молодая семья, прилива особой радости у родителей, понимаю, не вызвала. Но отец и так до сих пор пользовался отсрочкой в связи с недомоганиями своей мамы. Послабление со стороны военной инстанции не могло однажды не прерваться. Всего по повесткам на сборпункт явилось двенадцать молодых людей. Видимо, после произнесения строгих инструкций и краткой информации о непростом международном положении им и было предложено сфотографироваться. Пусть останется у каждого память о почетном и ответственном событии в их жизни – предстоящей службе в рядах доблестной Красной Армии. По снимку видно: к до-

щатой стене сборпункта было наскоро прикреплено на двух гвоздиках кумачовое, пусть и без надписей, полотнище. На таком фоне парубков и молодых мужей рассадили и расставили в три неполных ряда.

Держатся все достойно, собранно. Ни усмешки, ни понурости в глазах. Ни показного бахвальства. Впрочем, у двоих в углах рта белеют нераскуренные папиросы. Это от волнения или чтобы казаться старше иных? У меня ощущение, что все они выглядят несколько старше своих настоящих лет. Отчего это? Или, как и мой отец, стоящий почти безмятежно вверху крайним слева, большинство призывается позже своих обычных сроков? Или эта их взрослость сиюминутна, как тень, наплывшая без предупреждения из пучины будущего. Как предчувствие переживаний, которые еще никем на свете не описаны, потому что и не было ни у кого случая подобное разглядеть... Ведь полтора года всего пройдет, и рухнет на плечи всего их поколения такая напасть, что побледнеют в памяти рассказы старших о революциях, интервенциях, о лютой гражданской. И не таким уж чрезмерным покажется пережитое ими самими при коллективизации, раскулачивании, при испытаниях голодом в тридцатых.

Озадачивает, когда смотрю на них, и то, что ни у кого в глазах не различить даже хмельной искорки. И почему все пришли на сборпункт в каких-то самых ношеных, помятых, будто на выброс приготовленных пиджаках? Почему воротники рубашек у всех застегнуты, как в армии положено, и на

самые верхние, у горла, пуговицы. Как будто ожидают: вот сегодня, прямо отсюда их и повезут.

В последний день ноября 1939 года начались боевые операции на советско-финляндской границе. А на первой неделе декабря мой отец уже отбывал поездом на север, в сторону Ленинграда, в окрестностях которого ему предстояло в запасном артиллерийском полку обучаться навыкам наводчика 152-мм гаубичного орудия. Перед тем, как на станции Мардаровка сесть в свой поезд, он навестил маму и семью брата Николая. Не в тот ли самый день он привез Татьяне Максимовне маленькую фотокарточку, на которой я был снят в характерной позе голыша, лежащего на животике, но уже умеющего держать голову, уверенно отрывая ее от подушки? Бабушка моя Таня была на ту пору настолько изнурена раковым заболеванием, что разговаривала и прощалась с младшим сыном, не пытаясь даже подняться с кровати. Уже уходя, ступив на порог комнаты, он вдруг услышал ее слабый вскрик и, обернувшись, увидел: мать всё-таки вставала на ноги в порыве благословить его крестным знаменем. Он кинулся к ней, боясь, чтоб не упала.

18 февраля следующего года старший брат отбил в воинскую часть на его имя телеграмму с сообщением, что в этот день их мать скончалась. Отцу дали кратковременный отпуск. Он успел на скорый «Ленинград – Одесса». Но в Мардаровке поезд не останавливался. Вспомнив, что за два километра до станции составы начинают затяжной подъем, и

в этом месте будет большой откос, отец решил спрыгнуть в снег. Когда выбрался из сугроба у подножия откоса и оглянулся, его поразило, что расстояния между первыми шагами после прыжка были нечеловечески громадными.

Но проститься с матерью он всё же не успел. Татьяну Максимовну накануне его прибытия схоронили на Перешорском сельском кладбище, рядом с могильными крестами ее мужа, Федора Константиновича, и сына Александра-второго. Внизу, под кладбищенской горой, будто участвуя в про водах, багровела кирпичными стенами церковь, в которой она лет почти двадцать певала на клиросе и в которой день назад, перед погребением, ее отпели.

На телеге

Но вернусь к декабрю предыдущего года, когда призывник Михаил Лощиц отбыл на воинскую службу. Мы с мамой оставались в Валегоцулове после его отъезда совсем недолго, всего неделю или чуть больше. Да, здесь она родила меня в местной больнице, в одну из самых долгих ночей минувшего 38-го. Здесь, в той же больнице, через несколько недель мне срочно перелили ее материнскую кровь, когда врач посчитала, что только так меня еще и можно было спасти.

Но жить и работать в общем-то чужом для нее райцентре, без мужа, вдали от многочисленной крестьянской родни маме показалось участью свыше ее сил. Начальство из районного отдела народного образования милостиво разрешило ей перевестись учительницей в начальные классы Фёдоровской сельской школы. И вот за нами из своего *колхоза* невозмутимо прибыл на телеге дедушка Захар Иванович.

Сколько всем нам приходилось читать или слышать рассказов о самых первых впечатлениях младенческого существования, которые затем уцелевают на всю его жизнь! Где изначальный временной порог, служащий твердой опорой для действия детской памяти? В каком возрасте впервые обнаруживаются цепкость, схватливость, способность к долговременному хранению впечатлений, без чего память – звук пустой?

Наверное, всё это – область, в которой чисто научные, вычислительные подходы могут вполне обойтись за счет собственных средств. Однако почему-то научные подходы не желают обходиться только цифрами, формулами и схемами, но то и дело с любопытством или даже с некоторой завистью поглядывают в сторону самого простецкого людского самонаблюдения, которое я для себя называю навыком охранять собственные созерцания.

Поверят мне или нет, но самые первые впечатления из моего младенчества, удержанные памятью на всю жизнь, даже до сих вот минут, когда пишу об этом, приходится как раз на тот декабрьский день, когда мой дедушка тихим тележным ходом повез дочь и внука из Валегоцулова к себе домой.

Что-то светлое слабым, едва греющим прикосанием вроде бы зачинаясь в то утро при начале движения, но самочувствие мое при этом было невыразимо ужасным. Маленькое мое нутро почти непрерывно взрывали отвратительные приступы клёкота. И потому всё как-то зыбилось, кувыркалось в слабеньком сознании. Зыбилось и то мягкое, на чем я лежал. И то, что пыталось греть мне лицо откуда-то сверху, но не стояло на месте, а неприятно покачивалось. Да и светило оно совсем невнятно, будто лентясь распахнуть ресницы, свои или мои. Где-то сбоку отступая назад, скучно появлялись и исчезали ряды строений, и задние глухие стены их почему-то были обмазаны в одинаковый коричневый цвет. (Позже я узнаю, что это была большая молдавская часть се-

ла, из которого мы выезжали.) Я почти сразу устал смотреть на хаты и отвел глаза наверх. Небо потряхивалось там, блёклое, в каких-то белесых тщедушных комочках ваты, и, кажется, от них истекал неприятный приторный запах лекарства. Смотреть больше ни на что не хотелось.

То мягкое, на чём я лежал, было, понимаю теперь, соломой или сеном, а поверх подстилки еще что-то мягкое, одеяло или перинка, и сам я был одет-обут во что-то мягкое и теплое, и рядом, как всегда, сколько я себя знал, была мама, и она старалась, чтобы мне было удобно лежать. Это я чувствовал даже с закрытыми глазами. Но от ее стараний, от мягкого, нетряского, но вовсе не убаюкивающего передвижения откуда-то куда-то мне вовсе не делалось лучше, и я не хотел уже, чтобы что-то вокруг непонятно для чего откуда-то куда-то двигалось. Да и зачем нужно было мне на всё вокруг смотреть и что-то пытаться сообразить, если было так плохо? Что-то противное шевелилось у меня внутри, вспухало, мешало дышать. Я пытался удерживать его в себе, но оно от этого только злилось, начинало попискивать, поскуливать, противно ерзать; оно всё прибывало, прибывало и вдруг – повалило меня набок, сотрясло отвратительным хрипом, кашлем, тошнотворным извержением.

– Плюй... плюй, – всхлипывала мама, накренив меня лицом вниз через край большого, на чем мы с нею лежали.

Мне и самому так хотелось выплюнуть, вывернуть из себя наружу то серое и отвратительное, что продолжало клоко-

тать и надрываться во рту и еще глубже, в самом нутре жалкого тельшка, но это грязно-серое упрямилось, отпускало с моих губ только липкие, горькие нитки слюны.

Они текли-текли вниз и исчезали между сухих травных кустиков с круглыми светлыми бугорками обмерших соцветий. Я вдруг разглядел их с такой пронзительной отчетливостью, которая, кажется, до сей секунды никогда еще, от самого моего появления на свет, не давалась моему зрению. В этих кустиках была какая-то особая чистота, какая-то беззащитная невинность, хотя стекала на них моя нехорошая слюна.

Неизвестно откуда меня насквозь охлестнуло еще большим отвращением к своему нутру: за что, почему я плюю на эти кустки, на эту бурую, в мелких морщинах, кожу земли?

Почти тотчас из моего распяленного рта вывалился, наконец, комок буро-сизой слизи и шлепнулся в пыль.

Я был весь в липкой испарине. Но мне с каждым мигом становилось легче дышать, вдыхая острые, чистые, будто сочувствующие дуновения, что поднимаются наверх из этих морщин и от этих стеблей с их матовыми пупырышками наверху.

– Кашель... коклюш, – чуть не с плачем произносила мама неприятные кашляющие слова, обращаясь к тому, кто сидел перед нами, но сидел спиной к нам. Я наконец-то разглядел его наклоненную вперед спину. В наклоне его спины мне почудилась какая-то виноватость, будто это из-за него, из-за

того, что мы с ним едем, мне стало плохо. Так я впервые в жизни мельком увидел существо, которое оказалось дедушкой Захаром. Правда, только спину его успел заметить, с ее покатым наклоном вперед.

Потом в изнеможении я закрыл глаза. Мягкая лежанка под нами снова стала покачиваться. Значит, мы опять двигались куда-то дальше. И это было лучше, чем оставаться на месте и снова клекотать всем телом.

– Неужели ты мог запомнить? – покачала мама головой, когда я, уже на исходе ее лет, попробовал пересказать это свое старое-престарое впечатление жизни. – Тебе же было тогда сколько? Ну, года еще не было... Папу только постригли в армию, а дедушка приехал за нами из Фёдоровки. – И, помолчав, добавила. – Да, у тебя как раз был тогда коклюш. Ты прямо надрывался, так сильно кашлял... Но приехали домой, и у бабушки Даши на ее отварах ты быстро поправился.

Но как мы доехали, как выглядела хата, в которую меня внесли, как выглядела бабушка Дарья Яковлевна, и как, и чем она меня лечила, – всего этого я не запомнил. Того, что не запоминалось, как и всегда и у всех бывает, оказалось неизмеримо больше того, что осталось-отразилось насовсем.

Но не потому ли самым первым из моих созерцаний и уцелел тот день – с тележной ездой по степному проселку, с припадками коклюша, с кустиками сухих трав, – что это были слишком уж чрезвычайные переживание и перемещение, чтобы им навсегда пропасть в непроглядности младен-

ческого беспамятства.

Четвертый снимок

Фотограф усадил учительницу, конечно же, посередине, разместив подопечных детишек кого по ее правое, кого по левое плечо. А кого и внизу, на земле. Все они сосредоточенно, с внутренним волнением, как и на любом школьном снимке, смотрят прямо на камеру. Только я, упитанный карапуз на руках у мамы, в теплой шерстяной шапочке по уши и в темном, из плотной ткани пальтишке, не умея еще собирать внимание на чужой команде, гляжу как-то рассеянно.

За нами – окна и белые стены сельской одноэтажной школы.

Судя по тому, что все школяры одеты в пальтишки, как бы впопыхах накинутые, время года холодное, хотя снега на земле не видно... Поздняя осень?.. Ранняя весна?..

Да что я вычисляю-то, это всё тот же самый декабрь, месяц нашего с мамой прибытия в Фёдоровку! Сколько раз, по всяким семейным поводам открывал страницу с этим снимком, но только теперь вдруг приходит поздняя догадка. На глянцевой оборотной стороне нет никакой подсказывающей надписи – чисто. Но я готов безошибочно определить и год, и месяц, и даже день, когда нас с мамой и с этими ребятами снимали. Как можно было не учесть одну красноречивейшую подробность фотографии?! Впрочем, такое разве назовешь подробностью?

Почти все дети старательно держат в руках распахнутые учебники. А там – большой, в целый книжный лист, портрет. В 1939 году 21-е декабря было не просто очередным днем рождения Сталина, одним в ряду иных. В 1939-м вся советская держава торжественно отмечала 60-летний юбилей любимого вождя.

Потому-то, значит, приглашен, а скорей сам, по распоряжению из районо прибыл и в эту сельскую школу фотограф. Потому же, кстати, и снимает он сейчас учительницу с ее школярами не в классе, а на дворе, где свету в бессолнечный, один из самых коротких в году световых дней, всё же побольше. Потому-то мама и принесла меня на руках сюда, в самую серёдку села, от нашей хаты, стоящей почти на западной окраине Фёдоровки. А как не принести? У меня ведь сегодня тоже день рождения. Первый в жизни. Мне ровно год!

Наверняка она имела намерение вложить этот снимок в письмо мужу, как только фотография будет готова и как только дойдёт от него самого письмо с точным армейским адресом на конверте. Может быть, она уже и получила его и узнала номер полевой почты. И теперь надеялась, что фотограф не слишком задержится с распечаткой снимков для их школы.

К великому моему огорчению, фотография, о которой так подробно сейчас рассказываю, года четыре назад исчезла, потерялась из виду. То ли в какой-то из моих же книг или блокнотных тетрадей до поры затаивается, то ли кто из ближ-

них забрал ненадолго, чтобы переснять, и позабыл вернуть, как нередко забывают люди и книги возвращать их хозяевам. В приводимом здесь описании снимка я не нахожу больших огрехов, настолько он и сейчас отчетлив перед глазами. Жалко лишь, что не могу ничего более внятного сказать об облике мальчишек и девчонок из маминого класса. Вполне возможно, они даже и не из одного, а из разных классов, только занимались в одной комнате, – первоклашки вместе с второклассниками, с второгодниками или даже третьегодниками. Такое ведь сплошь да рядом случалось, особенно в сельских школах. Хорошо ведь помню, что и одеты они были по-разному: кто поопрятней, кто неряшливей, беднее. И портфели у одних новенькие, так что хочется их держать на виду, у других – совсем обшарпанные, доставшиеся от кого-то из старших. Посмотри сам товарищ Сталин на такую фотографию или на десяток-другой ей подобных, наверное бы, принахмурился: да, не всем пожалуй, при Советах жить стало лучше и веселее. Еще одну хотя бы пятилетку обязана страна осилить, чтобы приодеть да приобуть каждого из своих школяров.

Но я не заметил на этих детских лицах ни следа укоризны. Засидевшиеся за партами ребятки повыскакивали на школьный двор со звонким визгом, в ожидании небывалого события. Ведь большинству из них предстоит, может быть, самое первое фотографирование в жизни. И учительница только что сказала: каждый получит – не сей же час, конечно,

а через малое время, – собственную карточку и отнесет домой, чтобы поделиться радостью с родителями, и такой подарок надо будет сберечь на всю будущую жизнь. И вот дети, кое-как уняв свои восторги от предчувствия вознаграждения, скоренько извлекают из портфелей и сумок учебник, распахивают его на той самой заглавной странице, где портрет родного всем им дедушки.

Только я один ничего еще толком не могу уразуметь в происходящем. Ни уразуметь, ни удержать в памяти.

Гончар

Однажды летним утром бабушка Даша сказала, что возьмет меня в гости к Гончару. Я еще не знал, кто такой этот Гончар, но раз мы отправляемся к нему в гости, значит, он угостит нас. Ведь бабушка уже выводила меня в гости, где нас угощали ее соседки, то одна, то другая.

Утро было солнечное, но не жаркое, а свежее. Бабушка шла босая. И я тоже. Наши ноги окунались в теплую дорожную пыль по щиколотки, и я видел, что, когда моя нога прикасается к дороге, то в расщелинке между большим и вторым моим пальцем взбивается серый гребешок густой пыли. Какое-то время я развлекался этим наблюдением. Потом стал смотреть на бабушкины гребешки, и они были, конечно, гораздо больше моих. Потом – опять на свои. Они оставались такими же маленькими, как я ни старался растопыривать пальцы пошире или вдавливать ступни в пыль с большей силой. Потом я устал.

Получается, мы шли долго, потому что, когда впереди из-за соломенных крыш чужих хат и поверх садов показался на ясном небе высокий, как дерево, черный ствол дыма, и бабушка, кивнув на дым, сказала, что там и есть Гончар, то идти нам оставалось еще далеко, будто до края неба. Может быть, бабушка даже и брала меня раз от разу на руки, я не запомнил.

Но вот мы всё-таки пришли. Бабушка постучала в окно, и через время на пустой двор вышел Гончар. Этот краснолицый дядька сощурился на нас так придиричливо, будто никогда не видел живых людей. Он не повел нас в хату, куда положено приглашать гостей, но велел идти за ним в какой-то большой погреб. Там было страшно жарко, и прямо перед нами полыхал и гудел огонь в громадной печи. По сравнению с ней печь в нашей хате, где бабушка печет хлебы, калачи или пироги, варит борщи, томит всякие там каши или мамалыгу, показалась бы игрушечной.

В печи у Гончара в тугих струях пламени колыхались большие горшки, макитры, кувшины, – всего я разглядеть не смог, настолько жарко оттуда пыхало.

«Чем же нас будут угощать у Гончара?» – недоумевал я про себя. Но он уже вел нас в другую комнату, полутемную и прохладную. Тут на деревянных полках, а то и прямо на полу стояли, опять же, макитры, горшки, кувшины. Все они на подбор были коричнево-рыжего цвета. Гончар пощелкивал по их стенкам крепким, будто камень, ногтем, и посуда издавала из своего пустого нутра звонкие сухие голоса: «Син-нь... Зин-нь... Глин-нь...» Тут бабушка вынула из-под мышки большую холщовую торбу и принялась проворно выбирать и складывать в нее приглянувшуюся посуду – всё те же горшки, кувшины, макитры.

Потом, когда мешок наполнился и выпятился во все стороны круглыми и острыми боками, бабушка отошла с Гон-

чаром чуть в сторону и стала протягивать ему бумажки, а он, не глядя, совал их в карман своих грязных штанов.

И тут до меня дошло, что мы, значит, уже уходим домой – без всякого угощения. И я опять так вдруг устал, что начал зевать. Мне стало так тоскливо глядеть на всю эту порожнюю посуду. Зачем ее так много, если из нее ничем не угощают нас с бабушкой, хотя мы шли сюда так долго?

– Эгей, Дарья, а хто ж цей малый? – окликнул бабушку Гончар, когда мы уже вышли из его горячего подвала на двор.

– Та цэ ж мий внук Юрычок, – сказала бабушка.

– Ты дывысь!.. Юрко? – радостно уставился на меня краснотлицый дядька, как будто мы с ним давно знакомы, только он сегодня из-за жары не сразу меня признал. – А ну, почекайте трошки. Бо в мэнэ е щось и для тэбэ, Юрко. – Он потопал босыми ногами в какой-то другой темный закуток подвала, тоже, должно быть, уставленный всякими посудинами, потому что оттуда в ответ на его побряхтывание и ёрзанье отозвались звяком и кряхтением потревоженные горшки.

– Ага, ось ты дэ заховавсь! А ну, вылазь на свит! – сердито прикрикнул, наконец, дядька и сам почти тут же вылез к нам на солнце. – На, Юрко, дэржи!

На его черном указательном пальце висел, подцепленный за круглую глиняную ручечку, тонкогорлый кувшинчик.

– Ты дывысь, який гарный глэчик, – улыбнулась бабушка. И по ее улыбке я понял, что могу безбоязненно принять из

рук Гончара эту почти игрушечную крутобоку посудинку.

– Тэпэр будэш пыты из цього глэчика водычку. Чи молоко... А, може, щэ й горилку, га, Юрко?

И Гончар моргнул мне одним глазом и засмеялся пересохшей своей глоткой.

Таким было его угощение.

Глечик

Он увесистый и холодный, этот глечик, и он взопрел на дневном жару. Но мне совсем не тяжело нести его по дедушкиному следу, уходящему в траву от нашей телеги. Ручка у глечика шершавая, как раз под мою ладонь.

«Глэ-чик, а глэчик?.. Ты – мий глэчик», – думаю я про него. У бабушки на хозяйстве есть разные там кувшины – под молоко, под сметану или простоквашу. А глечик – единственный. И он – мой. Теперь, значит, у меня тоже появилось свое хозяйство, а к нему и поручение, и вот – я его исполняю.

Всё, что сейчас вокруг меня, все травы, что шелестят или недвижно нежатся под солнцем, всё, что ползает, перелетает между ними или копошится на земле, нуждается в моей опасливой оценке: уколёт оно меня, поцарапает, ущипнет, ужалит? Или же ласково до меня дотронется, не причинив никакого вреда.

Вот и получается, что без чьих-то подсказок, или почти без них, я, даже не зная по именам этих окружающих меня существ, имею уже достаточно осмотрительности и разборчивости, чтобы не лезть напролом, а на каждом почти шагу приглядываться и прислушиваться, если надо, то и молча пятиться.

Прежде всего мне нужно прислушиваться к влажно-

му, вкусному шмыгу, чавку и хрупанью дедушкиной косы. «Шмыг-шмыг... Хруп-хруп... Жавк-жавк...» Ей, должно быть, вкусно, косе, и дедушка ее всё кормит и кормит, как прожорливого конягу. Дедушке Захару некогда оглядываться и высматривать: поспеваю ли я за ним или сильно отстал, а то и вообще куда-то с его глаз сгинул.

Это уже сразу было понятно, что мне тут дозволяется расхаживать только вслед за дедушкой, ступая по следам его чёбот. Окажись я перед ним или сбоку от него, мои ноги угодят как раз под косу.

Да и как это я туда сунусь, если трава там – выше моей головы? В такой траве как раз заблудишься. А не заблудишься, так помнешь ее, и тогда коса начнет спотыкаться.

«Зык-зык... Ость-ость... Жесть-жесть». Это он остановился, вынул длинный серый брус из кармана и принялся точить косе ее жало, чтобы она проворней сгрызала траву, легко валила набок.

Когда он прячет взмокший брус в карман, я успеваю спросить:

– Диду, воды хочешь?

– Ну, давай, – оборачивается он, и я протягиваю ему важный, по самое горлышко наполненный водой глечик.

Дедушка откупоривает деревянную пробочку, которую сам же и выстрогал для глечика утром, делает три крупных глотка, вытирает усы тылом ладони и крякает:

– Яка ж вкусна! Як из крыньци... А ты сам хочешь?

– Ни. Ще нэ хочу.

Мне, и правда, еще не хочется пить. А у дедушки, вижу, белая его рубаха на спине и на груди побурела. И на лоб, и на лысину выкатываются большие спелые капли пота. Он, как сказала бы с усмешкой бабушка, *запалывся*. Это она, когда собирала нас на косьбу, налила из ведра полный глечик воды и наказала мне поить дедушку, «щоб вин не запалывся». Вспоминая теперь тот наказ, я думаю про себя: как же приятно исполнять ее поручение и как хорошо, что этот глечик, совсем недавно мне подаренный, сегодня пригодился.

Красуля

Перед тем, как садиться солнцу, пастухи пригоняют череду в село, и я всегда с удовольствием выхожу с бабушкой встречать нашу Красулю в проулок между хатой и коровником. Пастухи длинными кнутами и громкими криками подгоняют стадо, чтобы и самим поскорей поспеть к ужину. Коровы, а за ними овцы с баранами без понуканий поторапливаются к прохладным ночным жилищам, с намерением вволю попить колодезной воды и дорваться до ясельного угощения. Вот почему вся череда не идет, а прямо валит к селу шумным, жарким и потным валом.

Взмыкивают, взбивают пыль, отхлестываются хвостами от слепней. Того и гляди наша корова впопыхах проскочит свой поворот с улицы. Значит, надо ее встретить, позвать по имени, а то и слегка подстегнуть заранее припасенной хворостинкой.

Наступают мягкие теплые сумерки. Бабушка с порожним ведром в руке важным шагом проплывает мимо меня и вступает в открытую дверь коровника – доить Красулю. Я тихо семеню следом за ней. Мне любопытно смотреть и слушать, как она неспешно усаживается на свою низкую скамеечку, чуть не под живот коровы, ближе к вымени и задним ногами Красули. Я молча жду той минуты, когда первые струи молока начнут звенеть о дно ведра и его стенки. Эти короткие

прерывистые звуки так приятно слышать всякий раз. Мне только велено не подходить слишком близко к корове. А то еще лягнет копытом или хлестанет хвостом по глазам. Или рогом заденет. Хотя корова у нас смирная, но мало ли что ей взбредет в голову после целого большого дня хождения и лежания под солнцем. Пока бабушка доит ее, Красуля то и дело окунает морду в ясли, где для нее дедом заготовлена здоровенная охапка свежей, сочной травы. Корова мягко хрумтит сладкой жвачкой. Такой охапки должно хватить ей до утра, когда сельскую животину снова погонят в череду. Я еще буду спать, но знаю, что бабушка и утром, как всегда, отдоит корову.

«Дзынь-дзынь... зынь-зынь»... Первые звонкие удары струй о дно скоро сменяются более мягкими, спокойными звуками: «жик-жик... шик-шик... пых-пых...» Мне не видно, высоко ли поднялось в ведре молоко, но прибиток шуршащих, будто шушукающихся между собой звуков подсказывает: в ведре уже выросла целая шапка белой теплой пены. Эти умиротворяющие шепоты заполняют весь коровник, до самых темных углов, и мне начинает казаться, что взбухающие в ведре шевеления, коровьи вздохи и шорохи травных стеблей исходят именно оттуда, из слоистой мглы по углам, а не от коровы, ясель, бабушкиной большой согбенной спины.

Однажды у меня даже появилось желание помочь бабушке и самому немного подоить Красулю, подергать ее руками за длинные розово-белые тити. Но бабушка, услышав о моем

пожелании, издала горлом насмешливо-обидный хмык и тут же отчитала меня: «Малэ тэля! Нэ лизь, куды не клычуть!»

Но на другое утро, усадив в хате на табурет, устроила между моими ногами высокий и узкий деревянный то ли бочонок, то ли кувшин, накрепко заткнутый поверху круглой деревянной затычкой, из которой торчала палка.

– Ось, е и для тэбэ дило, – сказала она. – Дэржи палку и пахтай. Там, у дэжци – сметана. Будешь добрэ пахтаты, – з той сметаны зробыцця масло.

И тут же показала, как нужно быстро и со всего маху толкать палку вверх-вниз, вверх-вниз.

– А корову доиты – то нэ твое, то дивчачье и жиночье дило.

Сметана – так сметана. А то я не знаю, что это такое. По вечерам, после дойки, бабушка Даша угощает меня кружечкой теплого, душистого, еще шелестящего пеной молока. Но остальное она разливает из ведра по крынкам и относит их в погреб. Когда молоко через время остынет в крынках, бабушка снимает с каждой посуды по несколько ложек загустевшего белого и чуть кисленького на вкус лакомства. Это и есть сметана. Но в крынке остается еще и скисшее молоко, простокваша. Ее можно есть и большими ложками. А если бабушка подогреет простоквашу из двух-трех крынок в кастрюле и отцедит это горячее варево через сито, получится творог.

Я сразу же начинаю пахтать. Я собираюсь колотить неви-

димую глазам сметану изо всех своих сил. Кому же из нас не хочется масла? Иногда бабушка добавляет его ложкой в кашу, иногда намазывает тонким слоем на кусок белого хлеба, недавно вынутого из печи. А иногда разогревает до пузырей на сковородке и потом переливает в кувшин. И это – уже топленое масло, оно может храниться в подполе круглый год.

А еще она относит свежее масло в колхоз.

Мне кажется, что я пахтаю уже целое утро, но почему-то совсем не похоже, чтобы масло в дёжке как-то дало о себе знать.

Если прислушиваться к скучным хлопаньям внутри посуды, то приходит на ум, что сметана так навсегда и останется сметаной.

– Щось вона ничего не хочэ, та сметана, – ворчу я вслух и зеваю. – Якась вона ледаща.

– А, можэ, цэ ты ничего нэ хочешь? – хмыкает бабушка – Може, то нэ сметана, а ты в нас такэ лэдаще?

Укор бабушки подхлестывает меня. С новым раздражением принимаюсь я толкать палку вверх-вниз то одной, то другой рукой. Но проходит еще время, а эта противная сметана становится будто бы всё жиже и жиже...

– Бабушка, у мэнэ вжэ мозоляки на жменях, – начинаю я подхныкивать. Она подходит ко мне, дует на красные водяные мозолики, вспухшие на ладонях.

– А ты подывысь на мои руки, – вдруг потягивает она передо мной свои полусогнутые ладони, все в глубоких черных

морщинах и порезах. – Колысь и воны булы таки ж билэньки, як в тэбэ.

В голосе бабушки Даши я различаю какой-то вздох, совсем слабый. Но этого звука оказывается достаточно, чтобы мне неожиданно захотелось притронуться своими губами к ее жестким шершавым ладоням.

– Ще чога здумав, лызунчик! – отдергивает она свои руки. И даже для чего-то прячет их под фартук.

Потом строго приказывает:

– Айда на двир! Сама допахтаю твою сметану.

Но на дворе мне почему-то сразу становится скучно, и я жалею, что пожаловался на эти свои крошечные мозоли и не исполнил до конца поручение. От нечего делать я прохожу в открытый настежь коровник, притрагиваюсь к чистым, будто вылизанным Красулей яслям. Они пустые, ни одной травинки не осталось, и через небольшое оконце на их светлые доски падает солнечный рассеянный луч. Недавно я тоже зашел сюда один и вдруг обнаружил, что в порожних яслях, свернувшись калачиком, после обеда спит дедушка. Лысина его прикрыта кепкой, и он лежит, не разув своих старых чёбот, в которых косит траву.

Я сказал об увиденном бабушке. Мы вдвоем заглянули в коровник, тихо подошли к яслям поближе. Бабушка негромко назвала его по имени. Но он не пошевелился и продолжал дышать себе в усы.

– Кумедия, – с улыбкой произнесла бабушка неизвестное

мне слово. И добавила так же тихо:

– Заморывся мий Захарий.

А теперь, не успеваю придумать для себя какое-то еще занятие, как бабушка Даша уже кличет меня с порога в хату и кивком головы показывает на угол, где на полу в мисочке с холодной водой желтеет яркий круглячок масла.

Да когда же она всё успела!

Мне и стыдно, что не справился с пахтаньем сам, и радостно, что всё же и я постарался, как мог.

Но надо напоследок еще постараться. Я мигом выскакиваю на улицу, потому что бабушка велит сорвать большой лист лопуха, а он растет у нас в тени за хатой. Когда, запыхавшись от бега, я приношу ей самый зеленый, самый красивый лист, она промывает лопушину в воде и бережно заворачивает в нее масло, чтобы отнести в холодный подпол. И пока она его заворачивает и несет, возле ее рук всего на какой-то миг удерживается удивительный, тонкий, ни с каким иным запахом не сравнимый сладко-кисленький дух.

Собачья халабудка

Если повернуть за угол нашей фёдоровской хаты, перебраться дорогу к колодцу и от него взять влево, то через несколько шагов увидишь вишни. Их деревца свисают прямо над пешеходной тропой, и в прорехах между листвой и наливающимися ягодами проглядывает своими светлыми стенами и соломенным верхом еще одна хата. Это дом младшего дедушкиного брата Виктора и его жены тети Дуся. У них, как и у нас, много хлопот по хозяйству, и мы не каждый день, даже не каждую неделю видимся с ними. Но мне нравится ходить к ним в гости с бабушкой Дашей. Больше всего я запомнил, как мы навестили их на Троицу. Стоило лишь нам появиться на дворище родственников, как из своей белой, как лед, конурки-халабудки, удивительно похожей на игрушечную хатку, звонко рыча, вылетел рыжий песик.

– Шарик, Шарик, та цэ ж на-ши! – усовестила его с порога тетя Дуся, да и он сам тут же понял свою оплошность и важно забрался в прохладу необыкновенного жилища. Мне показалось, что он возвратился в халабудку слишком даже проворно, будто боялся, как бы я не опередил его и не проник в его заманчивую конурку первым.

– Ду-уся, – нараспев восхитилась бабушка Даша. – А колы ж цэ вы зробілы Шарику таку халабудку?

– Та за недилю до Троици и зробіла. Нехай, думаю, и

у Шарика будэ малэньке свято. Зробыла замис на соломи, встромыла гиляки дужкамы в землю, обмастыла ти дужки замисом, а як вин захряс, обгладыла зверху и знутра глынквой з навозом, щоб не потрискалось на сонци. А слидом же й розвела известь с синькой, щоб глядилось як хатынка.

Тетя Дуся, рассказывая всё это так подробно и нараспев, вряд ли догадывалась, как я им завидую: возле большой хаты у них теперь притулилось такое небывалое строение, какого и у нас, и во всём, пожалуй, селе больше ни у кого нет.

Шарик, казалось, тоже внимательно слушал ее рассказ и поглядывал на меня одним рыжим глазом, будто хотел сказать: вот видишь, хлопчик, как мне тут хорошо, всё чистенькое, свеженькое, стенки и круглый потолочек побелены внутри и снаружи. И даже понизу, как на большой хате, выведен кистью ровный ободок из черной сажи, чтоб всякому зеваке было ясно: тут всё, как у людей. И соломка постелена, видишь, совсем свежая, пахучая, только из скирды, а не из-под какой-нибудь коняги. И ты даже не мечтай, что я тебя сюда пущу полежать хоть на минутку, мне тут и самому в самый раз. Лежал и я когда-то в старой дощатой конурке, такой щелястой, что ветром продувало до самой кожи, а теперь! Смотри, надо мной потолок, как белое яичко. Думаешь, и куры мне не завидуют? Еще как!

Между тем тетя Дуся уже ныряла по своему огороду: надергала в подол горку круглой с краснобелыми бочками редиски, общипала твердыми черными ногтями зеленые

стручки горошка:

– Всэ такэ рясне, солодкэ. Йиштэ на здоровьячко.

– Ду-уся, – пыталась ее остановить бабушка Даша. – Та нащо цэ? Хиба ж у нас у самих ничего нэма?

Но и она тоже пришла к родичам, как я видел, не с пустыми руками, а что-то принесла в тугом сером узелке.

Потом мы спустились в хату. Спустились, говорю, потому что пол располагался немного ниже порога, и нам пришлось нащупать босыми подошвами одну или две ступеньки. Здесь всё было примерно, как в нашей и как в других хатах, где мне приходилось гостить. Большая белая печь-груба в углу, дощатый стол под иконами, отворенная дверь в соседнюю комнату, где большая хозяйская кровать возле черного грубошерстного, с большими красными розанами молдавского ковра, стоит как изваяние. И на кровати с молчаливым любопытством смотрит в нашу сторону, будто дожидаясь, чтобы и на нее обратили внимание, чуть не дюжина подушек: снизу самые большие, а потом поменьше, еще и еще поменьше, а наверху самая маленькая, в мельчайший красно-черный крестик, как новорожденное дитяtko.

Но ни эти подушки, ни печь, ни чистый стол, ни свежеразмазанный глиняный пол поразили меня, а поразило то, что лежало на полу. Это была здоровенная охапка дубовых листьев, будто занесенная сюда из леса через распахнутую дверь сильным движением ветра. В избе благоухало, как в дубраве. Благородный древесный дух был особенно свеж и

крепок, оттого что листья уже слегка свернулись, хотя еще не потеряли свой зеленый цвет. Когда мы ступали по ним, они не трескались и не рассыпались, а лишь слегка похрустывали, наполняя комнату особым, ни на что больше не похожим, будто церковным благовонием.

– Ты дывысь! – с одобрением покачала головой бабушка Даша. – Треба и Захарию наказаты, чтоб в другой раз прынис з лису мишок дубового лыста. А то вин всэ траву косыть на Тройцу.

– Та й трава добре, – вступилась за моего дедушку тетя Дуся. – Така вона духмяна. Вы ж знаетэ, для церкви тэж траву на Тройцу косять...

Так они еще говорили о том о сем, а я с пригоршней сладких гороховых стручков улизнул на улицу, чтобы посмотреть, не покинул ли Шарик свою хатку. Но он, будто догадываясь о моем намерении, посапывал себе на соломенной подстилке, и мне виден был в полукруглом отверстии лаза лишь один его безмятежно шевелящийся бок.

... Наверное, думаю я теперь, та необыкновенная пёсья халабудка была сооружена тетей Дусей в самое первое послевоенное лето, чтобы обозначить этим маленьким памятником начало новой мирной жизни. Но, возможно, она появилась и перед самой войной. Я и тогда мог ее запомнить, как что-то невиданное в нашем сельском быту.

Лет через сорок с лишним после войны я еще раз побывал в Фёдоровке, заглянул на полчаса к старенькой уже, пе-

режившей своего мужа, моих дедушку с бабушкой, тетю Дусю. Завез ей от своей матери гостинчик, головной платок. И ничего кроме слез и старческих сетований почти и не запомнил из недолгого разговора.

Вся хата ее была в глубоких трещинах, давно, знать, рук и средств не доставало ни для замазки, ни для побелки. Это еще удивительно, что кое-как стояла на своем месте и собачья маленькая хатка. Но и она была, подстать людскому жилью, в трещинах, в отшелушившихся пестрых следах побелки.

И давно уже, похоже, она пустовала.

Дратва

Утром я заглядываю в дедушкину мастерскую и вижу: посадив на нос круглые, при одной целой дужке, очки, он привязывает какую-то серую веревочку на крючок, что торчит из саманной стены. Веревочка не то, чтобы толстая и длинная, но это и не какая-нибудь нитка. Я подкрадываюсь на цыпочках, чтобы не помешать ему, но понимаю по его хмыканью, что он уже заметил мое присутствие и даже доволен, что я здесь.

Всё, что бы ни делал дедушка, мне очень хочется получше разглядеть, потому что он всегда делает что-то для меня новое и неизвестное. Потому что он у нас – *мастер*.

Так и бабушка про него мне недавно сказала:

– О, дид Захарий, вин такой! Вин у нас майстэр.

Я даже заметил, что бабушка и мама при нем вслух не называют коровник коровником. В этом – втором на нашем подворье строении – есть разные половины: в одной ночует Красуля и в отдельных от нее закутах спят куры и утки, а на другой половине, с двумя большими окнами, – дедушкино хозяйство, его мастерская. Он так и говорит обычно: «Ну, пиду в майстерскую».

– Диду, а що ты робыш? – заискивающе спрашиваю я у него, став сбоку.

– Хм-хм, – не спешит он отвечать. – Що роблю?.. Хиба ж

цэ работа? Так, дратва.

– А для чого вона тоби... дратва?

– Для чого? Хм-хм... А щоб тэбэ... за вуха драты.

– А зашто ж... драты?

– А щоб ты не був такой вэлыкий шкоднык, – ухмыляется он. – Щоб не залазыв на стол з ногамы, колы люды снідають чи вечеряють.

Услышав про такое ожидающее меня наказание, я на всякий случай начинаю подхныкивать.

– Ну, нэ лякайся, – утешает меня дед. – Дратва – вона зовсим нэ для того.

– А для чого ж? – приобадриваюсь я.

– Бачиш чобот? – он поднимает с пола старый мятый сапог. – Дывысь, яка дырка збоку. У таку дырку скільки болячки и пыли зализэ? От для того и дратва, щоб цю дырку зашиты.

Он сует мне в левую руку конец конопляной веревки.

– Зараз будэш мэни робыты дратву. Бо цэ щэ нэ дратва. Достает с одной из многочисленных деревянных полочек, приделанных к стене, темный кусок воска.

– На. Дэржи воск у правой руци и вощи коноплю що сылы. И як навощиш добрэ, вона станэ дратвой.

Воск в моей ладони тверд, как камень, необычное занятие забирает меня за живое. «Живк-живк... жик-жик...» Постепенно комок начинает размягчаться и пахнуть ульем, а веревка делается всё темней и жирней.

Вижу, дедушка доволен моим вощением:

– До-обра выйшла дратва! Нэ згные.

Но всё же он забирает у меня воск и веревку и сам еще и еще вошит ее напоследок.

Не успеваю я отдышаться от нелегкого для моих рук дела, как он, вижу, снимает с полки и просовывает в старый сапог какую-то светлую деревянную чурку.

– А цэ що, диду?

– Колодка, – объясняет он. – Щоб кожа на сапозі нэ зморщылась, а була ривна. Сапог без колодки не зробіш.

Я озираюсь на полку и вижу, что там стоят еще несколько разного размера чурок и чурочек.

И вот уже наша с ним дратва усилием дедовых напрягшихся пальцев то входит на железном поводке внутрь сапожного края, то высовывается наружу. Так раз за разом, раз за разом – и от дырки не остается следа.

– Ого! – люблюсь я дедовым изделием.

Но он переворачивает сапог наизнанку и хмурится.

– А тут, бачиш, що? Каблук покрывывсь. Трэба прыбываты новый. А дэ ж там наши гвоздочки?

Я проворно подношу ему с полки тяжелую баночку с гвоздями.

– Ни, – качает он головой и сам протягивает руку к полке. В коробке из-под спичек вижу горсть ровных, один к одному деревянных гвоздочков, похожих на спички, только коротких, с острыми кончиками.

– Жэлизни гвозди – то для подковаок, а нам потрибни гвоздочки дэрэвянни. Да-да, – убеждает меня дед. – Ты нэ ды-высь, що воны з дэрэва. Дэрэво кожу крепче держэ. Я сам их з дуба наризав. А тэпэр нэсы мени вон той молоточок, малэнький. И шилко визьмы, – кивает он головой на другую полку.

Легко сказать ему. А там у него столько выставлено напоказ молотков, молоточков, что попробуй сразу выбрать нужный. Или то же шило, – какое нести, если у него, оказывается, и шил полным-полно?

Вся эта стенка, как только подхожу к ней, меня снова и снова озадачивает. А сколько тут висит разных пил!

Длинные пилы с двумя ручками, короткие, при одной ручке. И эти вот, как он их называет, рамовые, – они, точно, похожи чем-то на оконные рамы... А всякие там длинные и толстые буравы, свёрла, рубанки, длинные фуганки, другие хитрые деревяшки и железяки, которых я пока и по именам не могу запомнить и не знаю, что он ими делает? И неловко мне спрашивать его то и дело, но и молчать не получается:

– А цэ що такэ?.. А цэ, диду?.. А цэ?..

Но вот нужные ему молоточек и шильце доставлены. В новой подметке каблука он протыкает шильцем дырочки, а потом уже вбивает в тесные отверстия свои деревянные гвоздочки. Из черной подметки они проступают красивой светлой россыпью.

Дед опускает очки ближе к ноздрям и смотрит на меня с

лукавой усмешкой поверх круглых стекол:

– А що, хочеш свои сапожки носыты?

При этих его словах в голове у меня проносится какой-то теплый ветерок.

– Хо-очу, – шепчу я.

Он примолкает и шевелит губами из-под усов:

– Скильки ж мени було рокив, колы я заробыв перши свои чоботы?

И еще молчит.

– Ноги в мэнэ вжэ булы таки ж вэлыки, як и зараз.

Я шепчу что-то про себя, чтобы прикинуть, когда же и мои ноги станут большими, как у дедушки. И почему-то кажется, что это будет еще не скоро.

– Та нэ журысь. – Дед слегка похлопывает меня по спине. – Цього ж лита, як збэрэм пшеничку и жито, зроблю тоби малэньки чоботки.

Только исполнить это свое обещание он так и не соберется.

Драбы́ на и горіще

Нет ничего приятнее для маленького человечка, когда он слышит поощрения самым первым своим самостоятельным стараниям:

первые членораздельные слова...

первые топотки по земле без сопровождения взрослых... или первые пробы, пусть не до конца удачные, как в моем случае, помочь бабушке в приготовлении сливочного масла из сметаны...

Так первый раз в жизни, видимо, тоже не без ожидания похвал, задумал я сам, без чьей-то помощи, взобраться на драбыну.

Но тут нелишне немного отвлечься от рассказа о самом происшествии.

Драбыной в малороссийских говорах издавна называли и до сих пор зовут обыкновенную деревянную лестницу. На мой слух, что драбына, что лестница – оба слова хороши, оба – из славянского общего обихода (недаром и у Владимира Даля *драбина* и *лестница* уместаются в одной строке его Словаря).

Наша большая фёдоровская драбына занимает свое достойное место между боковой стеной хаты и боковой же стеной коровника. Две эти глухие стены связаны поверху, на уровне их чердаков, деревянным помостом, застеленным по-

перечными досками. Высокий этот помост, самый простецкий, без перилец, ведет к двум входам: на чердак хаты и на чердачное помещение коровника, через которое на зиму укладывают сено для скота. Чердак хаты у нас называют *горищем*. Чаще всех на горище, как я замечаю, поднимается по своим хозяйским делам бабушка Даша.

Драбына, как и положено, стоит слегка в наклон к помосту, но не крепится к нему гвоздями или скобами. Когда в проезд между хатой и коровником нужно провести арбу, нагруженую пшеничными снопами, или телегу с кукурузными початками, а в другой раз с сухими спелыми шляпами подсолнуха, то взрослые легко отставляют лестницу вбок, чтобы не загораживала путь лошадям и поклаже. Во все остальные времена драбына покоится на законном месте как вкопанная. Наша корова Красуля, возвращаясь вечерами с улицы в коровник, легко обходит ее, но всё же слегка шуршит о ближнюю жердину боком, наверное, чтобы показать, какая она важная и как досыта она сегодня наполнила степными травами свои крутые бока.

В тот злополучный для меня вечер Красуля уже стояла в стойле, выдергивая из яслей самые сочные стебли травы, бабушка Даша уже пристроила между колен ведро и принялась раздаивать переполненные молоком коровьи сосцы. Дедушка с мамой занимались какой-то приборкой на дворе. Я же, стоя возле драбыны, хорошо их видел и слышал, и мне захотелось, чтобы и они, когда закончу задуманное путешествие,

хорошенько разглядели меня и порадовались моему успеху.

Самая нижняя поперечина лестницы находилась на уровне моих плеч. Мне нужно было теперь ухватиться руками за следующую перекладину, а босые свои ступни подтянуть к нижней. Что я и проделал совершенно легко и быстро. Так удачно начатое продвижение вверх заставило мое сердчишко учащенно забиться в ожидании новой удачи. Сначала руки вверх, одну и другую. Не беда, что следующая жердина толстовата для моих ладоней, поможем ногами. И тут они меня не подвели – ступни ловко разместились на следующей жерди. Укладываю пузо для передышки на поперечину, которую только что прихватывал руками. Но тут задираю голову вверх: следующая по очереди жердка от меня не слишком ли далека? Встав на цыпочки, я кое-как всё же дотягиваюсь до нее слабеющими пальцами рук. И спешно задираю одну, а потом и другую ногу, чтобы уместить их на очередной поперечине.

Но тут и случается беда! Пятки мои соскальзывают с поперечины, и туловище вместе с провалившимися в пустоту ногами повисает в воздухе. Теперь я удерживаюсь навесу только с помощью судорожно впившихся в верхнюю от меня планку пальцев и ... подбородка. Точней сказать: руки меня почти уже не держат, я вишу на одном подбородке. Вишу в самом жалком виде и при этом издаю еще какое-то вряд ли кому слышное поскуливание или кряхтение.

И всё же этих звуков оказалось достаточно, чтобы ма-

ма наперегонки с дедушкой кинулись мне на выручку. Чуть приподняв за живот и за ноги вверх, освободили подбородок и разжали впившиеся в древесину пальцы рук.

На ту пору, говорят, мне было почти два с половиной.

Случай тот запомнился, конечно, благодаря неоднократным шутливым воспоминаниям взрослых. Но и мои переживания тех секунд, в чем я через время уверюсь, не прошли бесследно.

... Бабушка Даша, когда услышала необычные клики с улицы, тоже выскочила на помощь к повисшему на одном подбородке безрассудному покорителю новых высот.

Но когда отзвенели в воздухе обычные в таких случаях взаимные обвинения в недогляде за *безглаздой дытыной*, и когда сама эта лишенная ума-разума дытына получила от матери пару горячих шлепков по верх штанцев, именно бабушка произнесла вслух слова, в известной мере оправдавшие оплошный порыв ее внука.

– Дурни вы, дурни, – сердито отчитала бабушка потупившихся мужа и дочь. – Хиба ж вы не бачите, що малэ, як и вы, тоже хочэ подывытысь на землю зверху? Воно ще ж ни разу нэ сыдило на том помости и ще ни разу не було на горищи?

Кажется, эти простые доказательства взрослой несправедливости озадачили дедушку и маму. Они стояли, как-то по-нурясь. И тут бабушка, недолго раздумывая, подхватила меня поперек туловища и принялась, горячо дыша, поднимать вверх по той же самой драбыне. А достигнув помоста, проч-

но усадила на досках лицом к подворью и сказала:

– Сядь и никуды нэ рыпайся. Як надоисть, поклычэш, я тэбэ сама зниму, чи маты.

– А што, як вин вбъется? – пролепетала снизу мама.

– Тамара, ты нэ думай, што воно у тэбэ такэ дурнэ, – махнула рукой бабушка – нэ вбъется! – И помолчав немного, добавила. – Бо як хто захоче вбытысь, то й сам Бог не збережэ.

– Хм-хм, – прокашлялся дедушка, и качнул в мою сторону головой, будто с намерением и от себя приободрить. Тем временем лестница заскрипела под бабушкиными крепкими ногами. Не проронив больше ни слова, она скрылась за угол коровника. Дедушка Захар и мама, постояв немного, снова взялись за свои мётлы. Лишь мама то и дело поднимала голову в мою сторону, будто проверяя, не придумал ли я еще каких-то самодействий.

Нет, я сидел неподвижно.

Неведомые до сего часа ощущения медленно заполняли мое существо, благодарное неожиданному поступку бабушки Даши. Еще ведь минуто-другую назад я извивался жалким червячком, готовым вот-вот шлепнуться об землю. А теперь восседал на высоком помосте, почти вровень с крышами домов. Я был теперь даже выше ласточкиных гнезд, пiski из которых доносились сюда из-под камышовой застрехи, кажется, всего в расстоянии моей протянутой руки. И я видел внизу своих маленьких, будто укороченных с головы до ног дедушку и маму. Они от этого казались мне чуть-чуть

смешными, хотя я понимал, что когда буду спущен отсюда вниз, они снова, как и положено, станут большими, а я маленьким.

И всё же не эти ощущения меня в первую очередь за-полняли тихим, еще неизведанным восторгом. Передо мной неожиданно открылись пространства земли, от которых я раньше видел, кажется, только какие-то отдельные кусочки и уголки, пяди и самые малые подробности. А отсюда, с помоста передо мной вдруг распахнулась вширь вся наша долина, населенная великим множеством живых душ, медленным руслом плывущая куда-то вдоль зеленой горы: бело-голубые хатки, что выглядывают из-за садовых деревьев; на подворьях – малые белые печки-кутуни, на них люди в этот блаженный летний вечер готовят себе еду и тут же рядом, за простенькими столами и лавками вечеряют, потому что всем им, взрослым и детям, именно теплым вечером так хочется подольше посидеть и поговорить под тихим задумавшимся небом, в ожидании первых звезд и ночных бесчисленных сверчков.

Чем ближе к сумеркам, тем настойчивей текут по-над селом длинные тонкие пласты тумана. Но это на самом деле не один лишь туман. Это, задумавшись, влекутся, то приподымаясь, то приседая, еще и дымы от уличных печек.

Наша кутуня с помоста не видна. Она – по другую сторону от хаты. Наверное, дедушка уже пошел туда и разводит огонь у плиты, чтобы мама начинала готовить всем нам вечерю.

Мне слышно сверху, как бабушка, кряхтя, отставила надоевшее ведро подальше от красулиных задних ног и как сцеживает молоко сквозь марлю в другое ведро.

Когда она, громко дыша мне в затылок, обхватывает за спину большими своими руками, на всякий случай, я всё же спрашиваю:

– А як жэ горище, бабушка?

– В дрúгий раз подывимось, що там, на том горищи.

... Не раз и не два видел я, как взрослые, чаще других бабушка, поднимаются по драбыне на помост и идут в сторону двери, за которой находится это самое горище. Я так про себя и решил: если это место – под самой крышею хаты, на ее верху, на самой ее горе, то как же его иначе называть?

Мне нравилось само слово *горище*, оно не вызывало недоумения. Но что там внутри? Иногда за ту дверь что-нибудь вносят, иногда выносят, спускают в мешке или в корзине вниз. Если бы я только тем и занимался, что сидел с утра до ночи под драбыной и следил за всеми этими хождениями вверх-вниз! Мало ли у меня других дел?

Но бабушка Даша в тот памятный день, когда я отделался ссадинами и синяками на подбородке, но зато с ее помощью навестил помост, не зря же сказала, что это не порядок, чтобы и мне однажды не побывать на горище. И я ждал этого дня.

Ждать надо было молча. Я уже знал: бабушка не терпит, когда у нее начинаешь что-то выклянчивать. Тут она замол-

кает, будто оглохла. А если не удержишься и через время снова начнешь жалобно заглядывать ей в глаза и напоминать о какой-то своей просьбе, она может даже слегка топнуть ногой и цыкнуть на тебя.

Бабушка, в отличие от мамы, никогда под горячую руку не шлепала меня. Но стоило бабушке топнуть об пол ногой или произнести свое негромкое «цыть!», как я старался исчезнуть с глаз ее подальше.

На горище же мы с ней поднялись не вскоре, не вдруг, но зато – бок о бок, шаг в шаг. Бралась она рукой за следующую поперечину, цеплялся и я. И не тесно было вдвоем на одних и тех же перекладинах, и ни одна из них под нами не переломилась, пусть и скрипела каждая своим особым скрипом. И руки-ноги мои оказались к тому дню не так уж коротки, чтобы не дотягиваться до каждой следующей деревяшки.

Само же горище, когда она распахнула его дверь, на какое-то время лишило меня способности говорить. И потом, когда начал задавать ей какие-то вопросы, обращался я к ней шепотом.

И не потому, что чего-то испугался.

Признаться, я и теперь не знаю толком, как достовернее рассказать о самом горище и о том, что увидел на нем в тот первый раз. Начать ли с того, что это было полутемное, напitanное сухим мягким теплом помещение для хранимых в нем сокровищ, которые я далеко не сразу разглядел по отдельности? Или с того, что хранилище это было прикры-

то сверху двускатной камышовой крышей, и она, казалось, навсегда прикипела к крепким стропилам и длинным поперечным жердям восково-коричневого цвета? Или с того, что полгорища по сути был верхней, внешней стороной домовых потолков, и что он оказался так же чист и ровен, как потолки в хате, но, в отличие от них, не выбелен известью, а облит и насухо отглажен, как наши домовые полы, без единой щербинки, самым тонким слоем такого же замеса, каким бабушка несколько раз в году обязательно поновляет глиняные полы в доме?

Нет, начать все же нужно с того, что на этом полу горища хранилось.

А лежали тут, будто в тихом безмятежном сне, раздольно холмились и простирались большими и малыми горками самые простые и самые бесценные сокровища семян, злаков, и плодов земли. Что прямо на полу лежало, а что – в мешках и мешочках, в кульках или в кувшинах.

Самой большой показалась мне золотая гора зерен кукурузы. Может, потому самой большой, что лежала ближе к свету раскрытой двери? Признаться, первым моим желанием было опустить в эту гору свою руку – до самого ее дна. Рядом, в некотором отдалении от нее, высилась горка цельного гороха, тоже золотого, хотя он и выглядел бледнее зерен кукурузы. С другого боку светились белые жемчужные фасолины, и в этот холмок мне также захотелось погрузить руки, чтобы почувствовать, есть ли там дно.

Немного дальше от двери, возле длинного светлого ствола печной трубы покоилось целое семейство мешков, не завязанных поверху, а наоборот, распахнутых, так что видно было, что в каком лежит.

В одном – чистая, без единой соринки пшеница, в соседнем – продолговатые серо-стальные зерна жита, чуть дальше – мешки с ячменем, овсом... А еще – золотистая, ласковая какая-то мелюзга проса. И ее пригоршни дожидаются какого-нибудь чугунка с кипятком.

Плетеные венки червонных круглых, одна к одной, луковиц свисают с жердин, не дотягиваясь до пола. В высоком широкогорлом кувшине уместилось целое воинство серых, позванивающих изнутри маковых коробочек. Там и сям выступают из полумглы еще какие-то тугие торбы и торбочки: от одной из них поцеживает кисленьким духом сушеных яблок, а там же, поблизости, чудится, и дуновение абрикосовой сушни. А груши, которые бабушка любит сушить в печи, – не может быть, чтоб и они тут где-нибудь не прятались?

– А шо це там? – шепчу я.

И вижу: в дальнем углу, хрупкие серебристо-серые кувшинчики.

– А то осы, – почему-то тоже шепчет бабушка.

– И дэ ж воны там? У своих хатках?

– Ни, осы вжэ видлэтили?

Но куда и надолго ли улетели осы, спрашивать о том уже некогда. Ведь где-то совсем близко от нас сидят по своим

гнездам, под застрехами, и никуда пока не улетают птенцы то ли ласточек, то ли воробьев, перешептываются и в ожидании нового корма от родителей кисленько пахнут своими тельцами и желтыми клювиками. И эта их необычайная близость к нам и нас к ним, но в то же время невозможность притронуться ни к одному гнезду, – всё это тоже горище, его щедрость и укрытость от чужого, недоброго глаза.

Мне так славно бродить по горищу медленным шагом, открывая всё новые и новые таящиеся здесь несметные сокровища, что я бы, кажется, с великой радостью остался тут еще на час, два, а то и до самого вечера.

Но вижу, бабушка уже заторопилась, собирает что-то с жерди в малую корзинку. Когда, прижмурившись от дневного света, выходим на помост, она говорит мне:

– Ну, сидай! Тэпэр будэш знать, яке воно – горище. Тільки ты сам сюды без мэнэ не лазь... а то не сможешь добре зачиныты двери.

Она и сама усаживается рядом на доски и даже, свесив босые ноги с края помоста, как девчонка, слегка болтает ими в воздухе.

Мне так нравится ее неожиданное развлечение, что я тоже, хотя и с некоторой опаской, подбираюсь к самому краю помоста, свешиваю вниз ноги и тоже болтаю ими. Только резвей, чем она.

Бабушка ставит между нами корзинку:

– Пробуй! Я сами солодки грозди высушила на горищи.

Тэпер цэ вжэ нэ выноград, а и-зюм.

Мне нравится повторять за нею новые слова, и я с удовольствием произношу:

– И-зюм.

Ванночка

Крестили меня не в церкви, а в обычной сельской хате, потому что началась война, и мы уже оказались в немецком и румынском тылу. А Фёдоровская церковь на ту пору еще не была заново открыта.

От картины того дня, позже подкрепленной немногочисленными дополнениями мамы, уцелело в памяти несколько разрозненных подробностей. Тихое пасмурное небо над селом. Сырая тучность приусадебного вспаханного клина, на котором дедушка обычно высевает рожь или пшеницу... И мы с бабушкой Дарьей, спешащие по тропе вдоль этого клина к чьей-то хате, что стоит почти напротив нашей, но ниже по склону балки... Вот приметы, позволяющие мне считать: пора была осенняя.

Значит, еще 1941-й? Фронт отошел на восток, и на селе оккупационная власть немецкая вскоре сменилась властью румынской. Союзники Гитлера, румыны рассчитывали на то, что земли, прежде называвшиеся Бессарабией, а это кроме Молдавии, еще и большая часть Одесской области, будут отданы Берлином под их управление.

Но всё ж румыны – православные. Не потому ли и священник объявился, ходит по домам, крестит. Скорей всего, в село он пришел почти сразу после того, как громы войны откатились вглубь страны. Не в правилах воина Христова было

бы медлить с исполнением самых насущных таинств, треб. Здешний крестьянский люд, ошеломленный, как и повсюду, молниеносностью чрезвычайных перемен, особо нуждался теперь в духовном окормлении. Да и сам иерей, до возобновления храмовых служб, мог всё же рассчитывать на хлеб свой насущный, пусть пока и в виде скурых подаяний, от случая к случаю.

Бабушка, догадываюсь, с моим крещением тоже никак не хотела медлить. Село пребольшое, а все друг друга знают. Мало ли кто может проговориться властям: у Грабовенок сын – красноармеец, у старшей их дочери *чоловик*, то есть муж, в Красной армии, средняя – учительница, и муж ее, второй их зять, – тоже красноармеец. Да еще и младшая дочь медсестрой ушла с красными.

Пытаюсь представить себе сильнейшие тревоги и внутренние борения, которые вселились в душу бабушки накануне стремительного отступления наших войск. Мама – уже в пожилые свои годы – рассказала мне однажды: за несколько дней до прихода немцев, она, запыхавшаяся, прибежала из школы и с порога, со слезами отчаяния, выпалила родителям: школьное начальство дает ей возможность срочно эвакуироваться вместе с сыном, то есть со мной, а значит, нужно сейчас же собираться... Дедушка что-то невнятное раз другой хмыкнул, видимо, примеряя про себя, какой всё же дать наиболее благоразумный отцовский совет. Но бабушка Даша и минуты не промешкала. В ее холодном кратком

определении вдруг проступила древняя как мир суровость охранительницы очага: «Ты, Тамара, робы, як хочешь, а його? – и она пригребла меня к своему животу. – Його я тобі не виддам!»

И юная моя мама тотчас сникла. Потому что поняла: да, не отдаст. Может быть, только такой приговор своему отчаянному намерению она и желала теперь услышать? Потому что он означал для нее одно: значит, и сама она ни в какую-то эвакуацию не отправится. Что там, за этим жестяным, заманчиво-зловещим «эвакуация»?.. Бегство, пыль, нищенские узлы на телегах, эпидемии... Куда, в какие еще спасительные кущи, на какой срок? Что за смысл от одного лиха другого лиха искать? Да неужели же она сама – без сына – возьмет и побежит?!

Но и бабушке, так властно распорядившейся судьбой дочери и внука, отступить было теперь некуда. Каждый день, каждую неделю, каждый длящийся медленным чередом месяц оккупационной оцепенелости ей нужно было снова и снова доказывать правоту своего решения. И когда она услышала однажды, что в округе объявился священник, ходит по хатам, крестит, исповедует, причащает, – ей ничьи подсказки уже не потребовались. Когда ж, если не теперь крестить внука? Не нагрянь война, разве эти родители-комсомольцы дали бы его окрестить? А, помоги Боже, погонят немцев и румын назад – что тогда? Тогда тем более не дадут! И вырастет дитя нехристом. Грех, великий грех падет на нее, нера-

дивую рабу Божию Дарью.

Не проучившаяся, в отличие от мужа, и года в церковно-приходской школе, она, однако, знала наизусть, что именно понадобится от нее в день совершения таинства, чтобы не оплошать перед неизвестным священником. Нужно приготовить крестильную рубашку до пят. Нужен крестик, на цепочке или на гайтане.

Рубашку быстро из простынки скроила, сшила, выстирала, прогладила. Крестик, маленький, золотой, у нее уже был для меня припасен. И цепочка медная лежит горкой в узелке.

Односельчанки попросили ее принести заранее еще и ванночку, которая должна послужить вместо церковной купели. Ведь собираются крестить сразу нескольких детей, кто поближе к нашему краю села живет, а таза или корытца подходящего ни у кого нет. Вот и вспомнили соседки: у Грабовенок почти новая ванночка – для внука куплена, как родился. Пусть ее и принесет тетя Даша.

Это всё приготовлено, но как быть с крестным отцом, с крестной матерью? Бабушка загодя поговорила со старшей дочерью. Лиза разве откажет? Крестным же вызвался стать, а значит, прибыть к назначенному дню мой дядя Коля, старший брат отцов, хоть он и живет на железнодорожной станции, в двенадцати километрах от Фёдоровки. Вот и хорошо. Восприемниками внука – его же дядя и тетя. Ну, а присутствие родной матери и по канону не обязательно. Объявись она, так священник, если окажется строг, еще и отчитает

юнюю учительницу: сама ты, значит, крещеная, а почему же душу своего сына по сей день, покуда гром страшный не грянул, оставляла в пустыне безверия?

... Через несколько минут мы с бабушкой его увидим. Какой он из себя, этот человек, которого одни зовут попом, другие – священником, третьи батюшкой? Что он скажет нам? И что это всё-таки такое – *окрестить*?

Я ведь иногда вижу, как бабушка крестится, стоя в углу нашей хаты перед иконами. Вижу этот сопровождаемый тихим шепотом и поклонами крупный, мерный мах ее правой руки ото лба к поясу, и затем от правого к левому плечу. Вижу изредка и дедушкины мельенькие, как бы наспех, крестики. Крестится ли мама, я не знаю, не видел ни разу. А когда сам, подражая бабушке, пытаюсь правой рукой неловко елозить по лицу сверху вниз и от плеча к плечу, она косится укоризненно и говорит со вздохом:

– Почекай трохи.

Может, сейчас, сегодня и станет мне ясно, почему она велит мне подождать немного, не делать до срока так, как делает сама?

А пока мы идем с нею к хате, в которой я никогда еще не был, но которая всегда так хорошо видна, когда стоишь на нашем домашнем пороге. Или когда смотришь на село из наших южных окон.

Она – внизу, в долине, при нижней дороге, и к нам обращена глухою своей, белой с синими углами стеной. Значит,

в ней и произойдет *это*, о чем бабушка меня предупредила самым, похоже, немногословным, при всегдашней ее сдержанности, образом: «Почекай трохи». Оттого я теперь сам не свой, попевая рядом с ней по тропе вдоль черной пахоты.

Уже внутри хаты наплывает на нас со всех сторон множество лиц наших односельчан, – взрослые, дети... Одни, кажется, знакомые, но больше таких, кого никогда раньше не видел. И разве сообразишь, кто где? Голова идет кругом. Но посреди всех одного различаю отчетливо – в чем-то до пят черном. И сам он какой-то черный: черными глазами озирает всех сразу, черноусый, с черной, густой, не виденной никогда ни у кого из наших сельских бородой, с черным загривком за плечами... Да он, если бы не бледные лицо и руки, совсем черный. Только на груди – большое что-то светится, бело-матовое, на крупной светящейся цепи... Что это у него? Красивое такое, многоугольное, хочется потрогать рукой. Да разве посмею?..

И, вижу, он медленно снимает с себя это светящееся, не спеша, будто во сне, окунает в воду... Раз окунает и другой... И еще раз...

Всплескивает, разлетается искрами вода в нашей, – узнаю ее и немного успокаиваюсь, – ванночке. На ее закругленную спинку крепкими его пальцами прилеплены три восковые свечи. Как только они вспыхнули, все глаза, все лица вокруг, и его лицо и руки тоже, будто смягчились, потеплели. Как и все, смотрю на него неотрывно. Никогда еще в малой своей

жизни не встречал ведь я человека, так спокойно подчиняющего присутствующих власти своих тихих слов и движений.

Никогда и не встречу его больше.

Зато, пусть не с ним, но с такими, как он, буду встречаться многократно. В разные десятилетия буду знакомиться со священниками, непохожими друг на друга по возрасту и облику, по духовному опыту, – в часы крестин, иногда в церквях, но чаще у кого-то на дому. Буду постепенно узнавать в подробностях, в мерном его последовании весь православный чин таинства крещения, удивительный в своей первобытной простоте и мудрости.

Но к облику того дня – к событию собственного крещения – мне здесь добавить, как ни жаль, уже и нечего. Потому что, сколько ни напрягаю память, не различить, не подобрать в горсть уже ни капли из той утекшей воды крещальной. И зачем же стану внушать, воображать здесь самому себе и тому, кто это читает, живописание таинства, взятое в долг из впечатлений уже взрослой своей жизни?

Наверное, в наступивший тогда час слишком переполнен был я переживаниями, чтобы они уцелели в памяти неприкосновенно и сполна. А, с другой стороны, слишком сильно, спустя всего несколько лет, обрывочная эта память была запечатана доверительными просьбами материнскими: не говорить о своем крещении ничего никому. А насмешливые высказывания моих первых же школьных наставниц в адрес разных там попов и безграмотных темных старушек? Разве

не впитывались они безоговорочно мной и моими сверстниками наравне с истинами азбучного строя, арифметических правил сложения, вычитания?..

И всё же остается при мне от того дня один свидетель искренний, свидетель непреложный – бабушкин золотой нательный крестик. Почти четверть века спустя после своих крестин освободил я его из заветного тряпичного узелка, врученного по какому-то случаю мамой, и стал носить на груди, чтобы уже никогда не снимать.

И еще свидетельница есть одна. По старинному церковному правилу сосуд, в котором крестят людей, в хозяйственных нуждах использовать запрещено. Как запрещено и воду освященную выливать, куда ни попадая. Ну, под цветы комнатные можно, под деревья плодовые можно... Не знаю, напомним ли священник, крестивший тогда нескольких сельских детишек, эти правила присутствующим взрослым. Может, и не стал напоминать, потому что каждый день видел вокруг себя скудость крестьянского житья, обложенного со всех сторон запретами то предвоенной, то военной поры.

Как бы то ни было, ванночка моя – в тот ли самый день или немного позже – вернулась в наше жилье. И в ней, наверняка, продолжали меня купать. А потом, уже после войны, купали в ней поочередно моего скончавшегося во младенчестве братца, затем и сестру. А стирки разных там пеленок, распашонок, рубашек да и взрослого белья? Как и по этой неотложной надобности обойтись было без нее? И ванночка

кочевала с нами по стране, – на телегах, в поездах, на машинах, и не порожней, конечно, а нагруженной, – когда тем же бельем, когда съестными припасами. Терпеливо и выносливо продолжала службу незаменимой в быту вещи.

И по сей день висит где-то в родительской дачной подсобке, уже ни на что не пригодная, праздная от бесконечной череды забот и попечений.

Странный немец

Вот он поднимается не спеша от нижней сельской дороги в нашу сторону, а мы с дедушкой сидим на завалинке хаты и смотрим, как он вышагивает.

Я уже умею немца отличить по одежде от румына. Немцы ходят в зеленом, а у румын одежда какого-то бурого цвета, точно пожухлая солома. Но этот, что шагает в нашу сторону, он – не просто в зеленом. Всё на нем – фуражка, китель и брюки – звонко-зеленое. Когда он обходит по краю дедушкин клин, на котором уже проступили всходы озимой пшеницы, я замечаю, что одежда у этого немца зеленью своей похожа на травяные ростки.

Другие немцы, которых я уже видел, носят серо-зеленые рубашки и пилотки, будто полежавшие перед тем в болотной воде, какие-то грязные.

А когда я их, немцев, впервые разглядел? Давно или нет? Не могу уверенно сказать. Но точно, утром случилось. Потому что спал, как было для меня заведено в холодное время года, на печи. И вот пробудился, расслышав сквозь занавесочку непонятную речь внизу. Слова доносились непривычно громкие, дребезжащие, даже со скрежетом. И как будто сыпались они из разных углов комнаты.

Я зашевелился. Очень захотелось разглядеть, кто же там такие. В щель между трубой и занавеской я увидел, что у

противоположной стены комнаты сидят – кто на стульях, кто на табуретках – несколько голых по пояс чужих дядек. Сидят, наклонив головы, и что-то упорно рассматривают, торопливо прощупывают в своих рубахах. Не знаю, что меня больше поразило – дружное копошение пальцами в одеждах или то, что они в чужом доме сидят полуголыми, совершенно этого не стесняясь, громко разговаривая и пересмеиваясь. Ведь я никогда не видел ни дедушку, ни бабушку, ни маму мою без одежды.

Тут перед занавеской возникло откуда-то сбоку хмурое лицо бабушки Даши. Она сухо прошептала:

– То нимци...

Оглянулась, наклонилась снова к моему лицу и сердито добавила:

– Не лизь до них...бо в них воши.

Тут-то я сообразил, чем они занимались. Они выискивали в своих кителях и рубашках, расщелкивали ногтями...вшей!

Бабушка задернула занавеску, а отпятился вглубь лежанки и даже надвинул на голову одеяло. Что если и ко мне приползет снизу отвратительная пакость, гадкие жучки, от которых у взрослых и детей кожа на голове и на теле начинает чесаться? От них же, говорят, можно заразиться и умереть.

Снова заснуть я уже не смог. Так и пролежал неизвестно сколько, сжавшись в комок, пока не стало совсем тихо. Бабушка окликнула меня и сказала, что можно спускаться, по-

тому что *нимци* куда-то ушли.

Но в другой раз несколько таких же, в серо-зелёном, солдат вдруг среди утра ввалились в хату и без всяких слов принялись скатывать с пола, сгребать в охапки длинные полосатые рядна. Рядна выскользали прямо из-под наших ног, и мы с бабушкой от испуга чуть не попадали на пол.

– Тикай! – сердито крикнула она мне.

Я опрометью кинулся на двор. Но здесь оказалось куда страшней. Сразу за нашими грядками, вся в черно-зеленых пятнах, торчала невесть откуда сюда приползшая уродливая железяка (потом я узнал, что она называется танкеткой). Из ее щелей с треском валил черный зловонный дым. Спиной к железяке стоял еще один немец. Он отмахивался от клубов гари и свирепо орал что-то трем солдатам, которые уже неслись из хаты со свернутыми ряднами на груди. Тут я обернулся на гневный вскрик бабушки Даши.

Она стояла на пороге и размахивала поднятыми вверх кулаками.

– А, трясця вашей матэри!

Я впервые услышал от нее такие грозные, как раскат грома, слова. В брани ее было что-то ужасное.

Тем временем немцы, мешая друг другу, уже запихивали рядна в дымящееся нутро своей уродливой машины. Дым быстро сникал. Когда он совсем иссяк, солдаты принялись выдергивать и кидать на землю почерневшие, чадящие комки смрадных ряден.

Только после тушения пожара они обернули свои чумазные лица в нашу сторону. Странно, они смеялись, будто довольные проказой дети.

... А вот этот, в ярко-зеленом, нарядном, с какими-то светлыми нашлепками на воротнике и плечиках, всё идет себе не спеша, будто на прогулку собрался. Может, вовсе и не к нам направляется? Остановился у крайнего в саду сливового дерева, что-то под ним разглядел.

– *Офи-цэ-эр*, – тихо, врасстяжку говорит дедушка и покашливает.

Когда он произносит новые, непонятные мне слова, я сразу верю, что он их не сам придумывает, как не берет же откуда-то из воздуха и названия для своих инструментов.

Мама мне недавно рассказывала, что у своих родителей дедушка Захар был в их большой семье чуть не самым маленьким, – ну, немного постарше меня. Семья их бедствовала и потому смышленного Захара отдали *внаймы* в немецкую колонию, на работы по хозяйству. То были совсем другие немцы, не похожие на этих военных, и он очень старался, запомнил у них названия самых разных инструментов и как ими пользоваться...

Конечно, мне бы хотелось и у самого дедушки расспросить про ту немецкую колонию, про то, когда и где это было, и где теперь те немцы, у которых он жил. Но не сейчас. Сейчас мне очень хочется услышать от него, куда всё же идет этот немец, и не ждать ли от него беды.

Ведь совсем недавно великая беда чуть не случилась: к нам в хату вломился, и тоже без стука, как те, что своровали и испортили бабушкины рядна, еще какой-то *серо-зеленый*, – толстенный, щеки трясутся на ходу, страшно чем-то недоволен.

Так его помню, будто и дня не прошло. Сопит, быстро обшаривает глазами большую комнату, лезет в малую, где как раз я стою у окна, только что подтолкнутый сюда бабушкой.

Взгляд его мгновенно упирается в стену над кроватью. И почти тут же он начинает верещать, как боров:

– Ле-е-енин?!

Щека и толстая его шея наливаются кровью.

Бабушка, бледная, с немым вопросом в глазах, замерла у двери.

– Ле-е-енин? – тычет он хлыстом, чуть не пробивая насквозь портрет в темной деревянной раме.

И уже не спрашивает, а будто наотмашь бьет, нацеливая хлыст попеременно то на стену, то на бабушку:

– Ленин!.. Ленин!..

Наконец, она догадывается о причине его ярости.

– Господи! Та який же цэ Ленин? – всплескивает она руками. – Цэ ж Захарий, мий чоловик...

Суматошно озирается, окликает со слезами в голосе:

– Захарий?.. Та де ж вин?

Бабушкин взгляд падает на меня.

– А ну, бижы, поклыкай дида... Нэхай йдэ сюды... Швыд-

че!

И опять пытается уgomонить немца:

– О, Господи, щэ й такого нам нэ хватало... Та хибя ж то Ленин?.. Та нащо б вин тут высив?.. То ж мий чоловик, Захарий...

Не успеваю выбежать, как дедушка сам явился на крики, переводит взгляд с бабушки на немца, тихо спрашивает у жены:

– Що такэ потрапылось?

Крик просто душил толстяка:

– Ле-е-е-нин!?

– Та вин ка-жэ, – захлебывается слезами бабушка, – вин ка-же, що то Ленин... на портрэти... А? Що тэпэр зробиш?

И тут дедушкины усы неожиданно распушаються в улыбке. Он делает шаг прямо на немца.

– Нихт Ленин, нихт... то я сам... Их бин!.. – дедушка тычет себя пальцем в грудь. – Майн портрэт... малер намалював... германьский малер ин германьский колония... Их бин арбайтер ин германишен колония... унд малер за марки, розумиетэ, арбайте майн портрет.

Мы с бабушкой не можем понять, что именно пытается он доказать немцу чужими для нас словами. Но, похоже, этих слов оказывается достаточно, чтобы тот вдруг перестал орать и вытаращился. Но уже не на портрет, а на лысого шутника, который говорит почти безостановочно.

– Герр офицер, – наступает дедушка, – ахтунг! – И пока-

зывает на свой подбородок. – Их бин ниht Ленин... Ленин хабе бо-ро-да... Их бин ниht бо-ро-да.

Даже мы с бабушкой теперь понимаем: да, у него нет бороды, и на портрете его тоже нет никакой бороды. А у этого, из-за которого немец так разорался, борода, значит, есть? И немец об этом разве не знает?

Толстяк в досаде бьет хлыстом по голенищу сапога, свирепо машет пальцем перед носом у дедушки, будто хочет уличить его в великой хитрости. И вдруг молча, растолкав нас к стенам, бросается из комнаты. Мы слышим грохот удаляющихся шагов. Но еще несколько минут стоим в оцепенении. Что, если этот страшный *герр официр* захочет вернуться и снова примется орать на всех?

Тут бабушка дотягивается руками до рамки портрета и, не спрашивая согласия у своего *чоловика*, снимает со стены. И молча уносит куда-то...

Мне бы в тот час разглядеть напоследок портрет молодого своего дедушки. Ведь ни при немце, ни до его неожиданного появления я сделать этого так и не успел. Потому что всегда пребывал он на стене и был для меня, как и сама эта стена, всегдашним. До того привычным, что и разузнавать что-то о нем повода не возникало. А теперь, когда она его унесла, разве теперь у нее или у деда допросишься, куда всё-таки подевали его? Ходят по хате и молчат, будто не узнают ни друг друга, ни меня.

... Но что же этот, в чистом зеленом мундирчике?.. Он

всё-таки, похоже, идет к нам. Хотя и посверкивает по сторонам круглыми очечками, а нас как бы всё еще нет для него. И лишь когда ему остается шага три-четыре до пристенка, где мы сидим, он замирает и чуть приоткрывает маленький рот, будто сказать что-то собрался. Но тут же и передумывает говорить. Или это он так зевнул?

Лицо у него под большой фуражкой тоже маленькое, молоденькое и, кажется, совсем не злое. Теперь он не смотрит по сторонам. То на дедушку глянет, то на меня. Дедушка уже пробует привстать и снять кепку, как принято у взрослых, и наклонить лысую голову в знак приветствия. Но немец прикасается тонким концом хлыстика к плечу его телогрейки, тем самым позволяет сидеть и дальше, как сидели до сих пор.

Он продолжает рассматривать нас, и мы, как ни хочется отвести взгляд от его светло-серых, бесцеремонных и каких-то дурашливых глаз, тоже вынуждены, из опасения, заглядывать в его размытые стеклышками очков, мутноватые, но неотрывные зрачки. И это взаимное разглядывание – для нас неловкое, изнуряющее, а для него, похоже, забавное, как игра посреди хмурого дня, длится так долго, что даже дедушка мой начинает похмыкивать.

Еще совсем немного, ну, минуту, ну, две или три, и он уйдет вниз по склону, к южной дороге, откуда и возник. Ни о чем не спросит, не попросит, не потребует ничего, не захочет войти в хату, где сейчас одна только бабушка, и она что-то делает по хозяйству, даже не догадываясь, возможно, о

приходе очередного незваного гостя... Одного из незваных, которые мне навсегда запомнились.

Но те, остальные для чего-то очень им нужного появлялись: одни, чтобы давить своих насекомых, другие, чтобы испакостить половые наши рябенькие дорожки, еще один, чтобы разоблачить хозяев за хранение портрета советского вождя. А этот? Он же ничего от нас, похоже, не хотел. И хотя он простоял перед дедом и мною, возможно, совсем не так долго, как мне показалось, но запомнился почему-то с особой отчетливостью, и потом, в разные десятилетия, я будто бы на фотоснимке снова и снова видел перед собою эту его тщедушную юношескую фигурку, серые размытые, но щупающие глазки, кругленькое личико, серебряные нашивки на воротах мундирчика. Он остался загадочным и странным.

Те ведь тоже вели себя непривычно, даже отчасти смешно: со своими насекомыми, со своей клубящейся черным дымом бронемашинной, с померещившимся Лениным. Что в них было загадочного? Что было странного в том, что еще какие-то из них однажды замусорили нам двор мятыми обертками от масла и плавленого сыра? Помню, бабушка, заметив, что я уже потянулся рукой к сверкающей фольгой обертке, цыкнула на меня: «а ну, не лизь... то гимно поросяче, смиття... тьфу!». Что было странного, загадочного в том, что они мусорят или гадят где попало, не стесняясь взрослых и детей?

Не выглядели странными, а, скорей, смешными, жалкими, и румыны, что в своих грязно-бурых шинелках с подня-

тыми воротниками ходили по трое-четверо вдоль улиц села и требовали, а то и выклянчивали у хозяек кукурузную муку, чтобы сварить из нее свою плотную кашу – мамалыгу. От зернового хлеба у них, говорят, болели животы и опухали глотки и десна, вот они и шли за своим кукурузным сбором с приоткрытыми ртами...

Почему же и по сей день остается для меня загадочен этот, единственный из всех? Ведь для чего-то и он всё же появился? Может, хотел разведать, не здесь ли живет молодая учительница и какая она из себя, и знает ли она, к примеру, немецкий язык?

Или о другом у нее хотел узнать: не она ли красуется на фотоснимке, который он заметил в жилье, где находится на постое: школьники сидят вокруг своей наставницы и по ее команде учебники пораскрывали, и у всех там – Сталин!

Но маму в тот день он бы увидеть не мог – ни в хате, ни на подворье. Она вообще в те дни и недели, – когда через Фёдоровку немцы прошли в 41-м на восток и когда в начале весны 44-го покатали на запад, – в родном доме почти не появлялась.

Лишь после оккупации провела она меня к той отдаленной хатке на краю поросшей молодым лесом яруги, где *ховалась*, и не она одна. Мы пошли с ней сначала задворками села, мимо дедушкиного виноградничка, мимо кладбищенского холма. Когда миновали самые дряхлые деревянные кресты и один или два древних каменных, почти зарос-

ших кустами шиповника, тропа изогнулась, зашпешила вниз, вдоль темной размоины-рыпы, цепляясь за корни деревьев. Тут, на крошечной полянке под старой лишаистой соломенной стрехой, и обнаружилась хата-невеличка маминой бабушки Олены. Что-то мама ей принесла в узелке и выложила на стол. Почти тут же маленькая старушечка в светлом платочке залепетала, зашаркала ножками в сторону белой и тоже маленькой печки, обещая, что и у нее в *хатынке* найдется гостинчик, чтобы угостить Тамариного сынка. И, точно, в ручке своей она вынесла к столу еще теплое печеное яблоко, будто налитанное медом. И я подумал: как хорошо, наверное, было маме *ховаться*, – укрываться тут, на самой глухой из окраин села, от всякой беды. И как жалко, что ни от бабы Даши, ни от мамы я ничего про таинственную свою прабабушку до сих пор не знал...

А что если этот любознательный, в зеленом мундирчике, от кого-то в селе выведал фамилию моего отца и потому захотел, поднявшись к нам, разрешить свое недоумение: что это за фамилия такая *Лоциц*? Вроде бы перекликается с немецкими и австрийскими типа *Лейбниц*, *Тирпиц*, *Клаузевиц*, *Зейдлиц*?.. Или же отнести ее надо к иудейским, поддельным под германские и австрийские, – вроде *Лифшиц*, *Литшиц* и прочие?

А может, потому он пришел, что его рассмешил недавно услышанный от своих же анекдот про местного крестьянина, который с помощью всего нескольких немецких слов дока-

зал солдафону из разведки, что в сельской хибаре висит не портрет Ленина, а его, крестьянина, портрет, да еще написанный каким-то художником из старой немецкой колонии?

Или же интерес к дедушке возник у странного гостя по другой причине: от кого-то из наших односельчан он мог услышать, что, точно, этот самый Грабовенко в молодости работал у немцев-колонистов и выучился готовить всевозможных сортов колбасы, сальтисоны, ливеры, грудинки и окорока, а сверх того на сельских свадьбах он же может часами лихо играть на скрипочке всякие краковяки и польки. Судя по всему, у офицера не было в то утро гастрономических намерений. Ну, какой крестьянин станет к его приходу придерживать в своей кладовке хотя бы фунт шпига? Но вот что касается музыки... Что если он сам был музыкант? И шел к нам, насвистывая что-то веселое из Гайдна, или Моцарта, или модного Карла Орфа? Ведь все они, великие, не стыдились обрабатывать для своих оперных арий, концертов, сонат самые простенькие, но забавные мелодии, подслушанные именно у простолюдинов. И лишь подойдя к нам на два шага, решил, что его с этой легендой о пейзажном скрипаче кто-то из переводчиков ловко разыграл. Ну, не способен сидящий перед ним старик в ватнике, с грубыми венами рук, с короткими, корявыми, желтыми от никотина пальцами, с их узластыми от земляных работ суставами не только пиликать что-то, а даже притронуться к смычку и скрипичным струнам.

Как-то, за беседой с Петром Васильевичем Палиевским, который в отрочестве даже подвергся насильственному выселению в Германию, я вспомнил о своих годах, проведенных в оккупации, в том числе и об этом странного поведения немце. Палиевский оживился и пообещал дать мне на время недавно вышедший в США, но в русском переводе, сборник воспоминаний немецких офицеров и солдат, воевавших на территории СССР в составе гитлеровских войск. Уникальность этих мемуаров, в чем я убедился, прочитав книжку, заключалась в том, что авторы подобрались, видимо, по принципу нестандартности своего отношения к народу, с которым они много лет назад столкнулись в советской России. Они писали не столько о своей личной храбрости, не о стратегической гениальности или, наоборот, тупости командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями, сколько о странном славянском народе, живущем в варварской пратеческой простоте. Их убогие жилища с глиняными полами и соломенными крышами лишены электричества, водопровода, канализации. Большинство из них почти круглый год ступает по земле босыми ступнями. Они не ведают, что такое одеколон и зубная щетка, а вместо мыла натирают руки глиной. Но, при всей их отталкивающей негигиеничности, это какой-то поистине галилейский народ, необыкновенно выносливый, смиренный в своем наивном, непоказном боголюбии, способный на неподобострастное и даже великодушное отношение к немецкому воину, которого они умеют искрен-

не пожалеть и... перекрестить на дорогу, как и своих детей, воюющих на стороне безбожного коммунистического сиона. Эти мемуаристы, воевавшие на разных фронтах, не стовариваясь, свидетельствовали по сути, об одном: в деревнях и селах России под коростой примитивного быта они разглядели не образины дикарей, как были приготовлены увидеть, – но лица, осененные Христовой истиной. Миссионеры цивилизованного Запада, они опешили, очутившись как бы в другом совсем времени, – там, где еще живы слушатели Нагорной проповеди. А если не опешили, то, по крайней мере, глубоко задумались. И надолго – вплоть до своих запоздалых признаний.

Может быть, он из их числа, тот загадочный офицерик? Впрочем, и всяких иных предположений о цели его прихода я для себя в разные годы придумал еще немало. Не тщетное ли занятие? Но почему-то оно меня никак не отпускало. В конце концов, он же мог в то утро просто прогуливаться по Фёдоровке без всякой задней мысли. И ему просто нравились такие деньки ранней весны – с легким теплым туманцем во всё небо (как в родной его «Германии туманной»). Нравилась эта ватность в воздухе, не пропускающая немирные звуки, и он, допустим, проснулся после крепкого молодого сна с таким чувством, будто ни единого дня не был еще на войне. И быть на ней не собирается, а если придется, то никого не ищет ни убить, ни обидеть.

Громы войны уже покатили в сторону его фатерлянда.

Ведь на дворе стояло начало марта, судя хотя бы по дружным
всходам озими на нашей усадьбе.

Рассказ про собаку

Поздним вечером было или на рассвете, – разве вспомню сейчас? – но однажды в большую комнату нашей хаты, при слабом свете керосиновой лампы, ввалилось и застыло у порога неизвестное мне существо в какой-то мятой шапке-ушанке, в грязно-бурой, тяжелой, коробящейся шинели до пят. И почти мгновенно бабушка и мама, всплеснув ладонями, кинулись к этому замершему без движения существу. Всхлипывая, что-то невнятное причитая, они принялись освобождать человека – мужчину или женщину? – от нелепого балахона. Тот будто изо всех сил сопротивлялся их стараниям, но, наконец, грузным комом рухнул на пол. Дедушка, до той минуты стоявший чуть поодаль, тут же нагнулся, проворно собрал одежду в ком и на вытянутых руках, не прижимая к себе, быстро вынес куда-то вон.

Тут бабушка, заметив, что я не сплю, глянула на меня такими чужими глазами, будто никогда до этой минуты не видела и не знала.

– Ты чего? – спросила она тихим, сердитым голосом. – А ну, лизь на кровать, закройся з головой и спи!

Я надул губы, но исполнил повеление. Уже с макушкой, накрытой одеялом, я продолжал хлопать от обиды ресницами и шмыгать носом. Почему мне нельзя посмотреть на то, что происходит, и узнать, кто же это пришел? Разве я сделал

что-то нехорошее?

Теперь голоса стали хуже слышны, но один, принадлежащий неизвестному человеку, я сразу уловил, потому что прозвучало мое имя. Этот глухой, хриплый, как из погреба, голос выговаривал слова медленно и через силу:

– Кто там?.. Ю-юра?

– Ну да, – ответила мама, давась слезами.

– О, ос-поди... и вин... тут?

– А дэ ж йому буты? – спокойно возразила бабушка. – А ну, снимай з сэбэ всё! Зараз нагриецця вода.

– Та мэни ж... так... со-ром-но... Такэ... ху-дю-ще... кожа й кости...

Я слышал, как закрывают занавески на окнах, как дедушка запирает на засов входную дверь в хату.

Если они делают так, – закрывают от посторонних двери и окна и греют воду для мытья – и если пришедшее к нам существо знает меня по имени, значит, это не какой-то чужой человек, – соображал я.

Беспокойство, любопытство и обида недолго одолевали меня. Под тихие всплески воды в большом тазу я заснул, так ничего больше и не узнав об этом загадочном человеке.

Лишь спустя годы мне стало понятно, почему мои домашние в ту военную пору вообще старались, чтобы я как можно меньше задавал им вопросов обо всём необычном, происходящем вокруг.

Но всё же на следующий день я узнал, что имя странного

существа, пришедшего к нам неожиданно-негаданно – Галя, но что мне ее надо называть тетей, потому что она, оказывается, – младшая сестра моей мамы.

Тетя Галя с утра спала, отвернувшись лицом к стене, на отдельной лежанке – в темном закуте малой комнаты. Когда меня позвали завтракать, мама своим строгим учительским шепотом предупредила, чтобы я не беспокоил тетю Галю, не приставал к ней с расспросами, потому что она не очень здорова. Когда я сразу же – и тоже шепотом – попытался узнать, почему тетя Галя не очень здорова, мама сердито цыкнула и даже стукнула меня костяшкой указательного пальца по лбу. Это была такая большая редкость в нашем общении с мамой, что я опять, как и накануне, надул губы и захлопал глазами. Но бабушка, сидевшая за столом напротив нас, покачала сверху вниз головой, одобряя мамин поступок.

Я решил, что раз так, то теперь совсем не стану даже близко подходить к тете Гале, не то что ее расспрашивать.

Но поскольку ни на улицу, ни в мастерскую к дедушке меня в те дни не выпускали, мне тоже не оставалось ничего другого, как отлеживаться на нашей с мамой кровати, отвернувшись, как и тетя Галя, лицом к стене. Иногда я всё же потихоньку поворачивался на шорох, доносившийся из ее угла, но она лежала почти так же неподвижно, в какой-то темной косынке поверх головы. И лишь изредка что-то невнятное бормотала глухим сиплым голосом, будто переговариваясь... Но с кем? Лежала она, свернувшись калачиком, и во-

все не выглядела такой громадной, как в час, когда вошла в хату. От нее будто исходило ко всем нам предупреждение: только не надо меня трогать, и я тоже не буду вам мешать.

Мне было и жалко, что тетя Галя хворает, и в то же время я немного обижался на нее из-за того, что с ее появлением бабушка и мама как-то вдруг хуже стали ко мне относиться. Можно подумать, что и я не хворал до сих пор ни разу. То бабушка с мамой лечили меня от золотухи, то от стригущего лишая на шее, которым заразился на улице, погладив чужую кошку, а то раздевали догола и мазали, как ни стыдно было мне такое неприятное занятие, моей же мочой, противно теплой и вонючей... Ну, разве же была моя вина в том, что тетя Галя, о которой я вообще ничего никогда не слышал и не знал, вдруг пришла к нам неизвестно откуда? Да еще и больная.

Дни шли за днями, серые, знобкие, а тетя Галя всё никак не поправлялась. Если она иногда приподымалась, не покидая кровать, чтобы поесть что-то из тарелки, принесенной бабушкой или мамой, то в мою сторону не смотрела, будто и нет меня тут. Разве не обидно? Ведь тетя Лиза – тоже мамина сестра, но как она всегда со мной бывает ласкова.

Однажды я проснулся и увидел, что кровать, где лежала тётя Галя, пуста и ровно застелена одеялом. В то утро не оказалось в хате и мамы, чтобы спросить у нее, где тетя Галя и поправилась ли она. Я уже собрался нарушить запрет и спросить об этом у бабушки. Но она, заметив мое намерение,

шумно вздохнула. И я понял, что и теперь не нужно ничего расспрашивать.

Нет, тетя Галя никуда не ушла от нас. Пусть ее не было видно в дневное время, пусть и к ночи она редко появлялась, тихая, как тень, но я иногда всё же успевал краем глаза рассмотреть ее бледное скуластое лицо, заостренный, с горбинкой, нос и всё ту же косынку на голове. Тихая, как тень... Но разве и бабушка, и мама не передвигались тогда по хате малозаметно, без лишнего шороха, не то что стука, – будто вот-вот готовы были исчезнуть насовсем в тени сумерек?

Лишь через несколько послевоенных лет, когда мы с родителями жили уже в Москве, мама рассказа мне, откуда пришла к нам тетя Галя и почему я не видел, а вернее, не помнил ее раньше. Рассказала о том, что до войны ее младшая сестра, закончив Фёдоровскую семилетку, захотела учиться дальше и приехала в Валегоцулово, где я к тому времени родился. Мои папа с мамой поселили ее в своей комнате, которую снимали у кого-то из местных жителей. У тети Гали был веселый безунывный нрав. Во время, свободное от курсов медсестер, на которые поступила, она с удовольствием нянчилась со мной, давая моим родителям возможность то в кино сходить, то в гости к приятелям. Когда же началась война, ее взяли медсестрой в Красную Армию.

Случилось так, что их медсанчасть, – при этих словах своего рассказа мама начинала давиться слезами, – оказалась в окружении, и тетя Галя попала в плен к немцам. Вместе

с нею в плену были еще две сестры милосердия, ее подружки. Мама не могла запомнить, когда эта беда случилась и в каком месте, и сколько длился тот плен. Но как-то медсестры почувствовали, что конвоиры проявляют к ним особое внимание. Они ютились тогда в каком-то коровнике, спали вповалку на подгнившей соломе, не снимая своих провонявших шинелей, грязные, нечесанные. И вот охранники заводят к ним учебную собаку, заставляют ее обнюхать пленниц. Тетя Галя, расслышав, что немцы произносят слово «юде», догадалась: собака способна определить, кто из троих еврейка. Дело в том, что одна из девушек, точно, была из еврейской семьи, звали ее Ида. Можно представить себе оцепенение пленниц. Они лежали, не шелохнувшись во время унижительных обнюхиваний. Подруги не собирались выдавать Иду. Но они не знали, как поступит Ида, если собака покажет не на неё, а на кого-то из них. Промолчит или признается сама. И если промолчит, то как тогда поступить им? Наверное, из-за зловония, которое исходило от их тел и одежд, собака не сумела различить запах, на который была натренирована. И тогда охранники, посоветовавшись и посмеявшись между собой, сказали девушкам, что они могут убраться отсюда, куда угодно, и вытолкали на двор.

Так медсестры оказались на воле, если можно назвать то нечаянное освобождение настоящей волей. Они остановились где-то на перекрестке посреди пустого заснеженного поля и сказали: «А теперь, Ида, пойдем по своим дорогам,

до своих домов, не обижайся»...

Вскоре после того, как Фёдоровку освободили красноармейцы, тетя Галя ушла за четырнадцать километров в Котовск, где участвовала в восстановлении госпиталя в военном городке. Там она и осталась работать медсестрой, там и вышла замуж за сибиряка дядю Леню Акимова, который в сорок втором воевал под Сталинградом в дивизионе «капусты», а после войны, уже сверхсрочником, остался служить на Украине, в Котовском военгородке. Через три года к ним в Котовск перебрались из Фёдоровки и мои дедушка с бабушкой.

Однажды мы с мамой, приехав к ним из Москвы погостить, узнали, что тетя Галя только что благополучно родилась мальчиком, своим первенцем. В утреннюю солнечную пору мама и я заспешили в роддом с букетом цветов и корзинкой домашней снеди. Соседки по палате подозвали тетю Галю к открытому окну, она крикнула своим звучным гортанным голосом, что сейчас спустится к нам. Пока шла двором, под тень большого каштана, мама попросила меня, чтобы я поцеловал тете Гале руку.

– Зачем? – смутился я.

– Так надо. Она ж теперь мамой стала. Она мальчика родила.

Тетя Галя шла к нам легкой походкой, в светлом больничном халатике. Ее короткой стрижки волосы золотились под солнцем соломенной копенкой. Когда сестры расцеловались

и очередь дошла до меня, я после привычного троекратного целования с неловким усердием поднес напрягшуюся руку своей тети к губам.

– Это зачем еще? – отдернула она ладонь.

Тут же они занялись с мамой своими разговорами о новорожденном, о его весе и росте, о том, хватает ли ему материнского молока и о том, что решили назвать его Володей, и о том, когда выпишут домой, и о чем-то еще. А я стоял как вкопанный, и мне казалось, что краска стыда никак не отхлынет от моего лица после такого несуразного «целования», отвергнутого тетей Галей.

Будто догадавшись о моей обиде, она вдруг обернулась, потормошила ладонью вихры у меня на голове.

– Ай да, Юрасик, какой же ты у нас кавалер вырос!.. Когда я первый раз тебя в Валегоцулове увидела, то ты еще и ползать не умел. А какой ты тогда мне подарочек замечательный преподнес, помнишь?.. Ну да, откуда ж тебе помнить... Подняла это я тебя в воздух, одной рукой под попку держу, а другой – за спинку, так ты же мне – от страха или на радостях – целую жменю золота наложил.

При этих словах тетя Галя так заливисто засмеялась, такие вспыхнули искры в серых ее глазах, что и мы с мамой заулыбались ее неожиданному воспоминанию. И я с той самой минуты сполна уверился в маминых словах: да, у нашей тети Гали удивительно веселая, добрая, прямая, честная душа.

Как и тети Лизы, как и мамы, их младшей сестрицы уже

нет в живых. Я часто ее вспоминаю, и, пожалуй, хватило бы таких воспоминаний на целую книжечку, но чаще всего встанет из прошлого тот день зимы сорок четвертого года, когда она из последних сил добрела после плена в свою родительскую хату.

* * *

Тетя Галя вернулась из плена. Трех медсестер отпустили. Их вытолкали из сарая, где валялись в соломенной гнили. Перед тем приводили ищейку, чтобы вынюхать, кто из них *юдэ*. Но пленницы так провоняли, что собака и та растерялась, а подруги не выдали Иду, и она о себе промолчала. А когда медсестер отпустили, они вышли в пустынное поле, будто в древнюю Палестину. Две подруги сказали третьей: «А теперь разойдемся, Ида, кто куда, по домам, по хатам». Так вернулась домой тетя Галя. На участливые расспросы неохотно она отвечает. Но дойдет до ищейки, и в горле хрипнет голос ее, застревает.

Зеленый глазок

Под вечер хмурого сырого дня мне, в который раз, велено сидеть, а лучше лежать безвылазно в маленькой комнате. Потому что в большой – опять чужие. Вон они – гремят табуретками, стульями, снимают тяжелые шинели, что-то тяжелое вносят, ставят на стол. Кажется, их там столько, что мне и ступить будет некуда. Да и как нарушу строгий бабушкин наказ? Разве лишь разгляжу что-нибудь в полуоткрытую дверь? Не я же ее так оставил. Это кто-то из них, неразличимый в полутьме, распахнул, оглядел меня молча, хмыкнул и тут же ушел к остальным.

Говорят на своем *гыр-гыр*, как бабушка называет их слова. Но почему-то негромко говорят. И смеха сегодня не слышно. Вдруг умолкли совсем, и в хату откуда-то издалека начинают просачиваться едва различимые шипящие звуки. Там, откуда их наносит, тоже что-то гыргочут уставшими голосами. Мне кажется, они устали оттого, что исходят очень уж издалека, из-за края света. Ослабевшие слова прерываются какими-то попискиваниями, щелчками, шуршаниями. Потом снова врываются голоса, но уже иные. Или даже звучит чье-то пение, но оно тоже наполнено признаниями об усталости – будто сырой холодный ветер жалуется деревьям.

Странные звуки так меня почему-то беспокоят, что я забываю о бабушкином наказе. Вытянул шею в сторону двери,

потихоньку подбираюсь к краю кровати. Очень уж хочется увидеть и услышать побольше. За столом, напротив меркнувшего света в окне, сидят два или три офицера – два помоложе, а один совсем старый, с седыми коротко стриженными волосами. О том, что они офицеры, я догадываюсь по погонам. Их витые светлые ребра еще проступают на плечах мундиров. На середине стола темнеет большой ящик, из которого и доносятся необычные голоса, щелчки, всхлипы, жалобное пение.

Но это вовсе не патефон, как у нас. Папин и мамин патефон, который, я раньше так любил слушать, мама однажды упрятала под мою кровать. А попробовал было пожаловаться дедушке, но, по его объяснению, иступились все до единой иголки, которые помогали пластинкам звучать. И хотя он при мне пробовал заточить одну иголку рашпилем, пластинка от такой иглы только зашипела и тут же перестала крутиться. Теперь там же, под кроватью лежат в своих конвертах и пластинки.

Те трое, что за столом, сидят неподвижно, сгорбившись возле своего ящика. Кажется, больше всего их занимают не звуки, шевелящиеся в его темном нутре, а яркий зеленый огонек, который то вспыхивает, то прижмуривается и меркнет, то снова кладет зеленый отсвет на чей-то погон. В комнате и кроме этих троих угадывается присутствие других немцев, неотрывно слушающих и глядящих в зеленую точку. Почему-то никто из них не просит бабушку зажечь кероси-

новую лампу. Да и где она сейчас, я не могу понять. Где все остальные – дедушка, мама, тетя Галя?

Я догадываюсь, в этот вечер накатывается для нас что-то новое, необычное. Не потому ли с середины дня начали дребезжать стекла в доме, особенно жалобно вздрагивает окно со стороны дороги. И сама дорога, почти всегда пустынная, невзвесть откуда заполняется темными грузными тенями, надсадным хрипом и рыком тяжелого стада, будто подгоняемого каким-то громадным злобным пастухом.

Наконец, мне надоедает смотреть на моргание зеленого глазка, слушать дребезжание непонятных слов, скучать от того, что родные оставили меня одного среди чужих людей и их непонятных звуков. Я прячу голову под одеяло, задремываю.

Но почти тут же и просыпаюсь. Во тьме не сразу удастся разобрать, что на соседней кровати лежит головой вниз один из них. Он бормочет что-то, хрипит, а потом принимается стонать и выплевывать из себя какие-то отвратительные зловонные комки. Они шлепаются в таз, который принесла и пододвинула под него бабушка. Заметив, что не сплю, она сердито шепчет, чтобы я отвернулся. Да мне и самому противно слышать, как он рычит и плюется. У нас дома никто никогда так не делает. Но краем уха я всё же улавливаю, что в большой комнате все задвигались, загремели стульями. Неужели собираются уходить вместе со своим черным ящиком? Напоследок заглядывают и за этим, что валялся тут, в кителе

и сапогах, в двух шагах от меня и гадил на пол. Со смехом грубо тормошат его, помогают встать и выйти следом за всеми на двор.

Исход

Но на следующий день даже бабушкин самый строгий запрет не в состоянии был бы удержать меня взаперти.

Пусть и небо хмарное, и дождик, мелкий и колкий, – то утихнет, то опять припустит, – а я нахожу новые и новые поводы, чтобы выскальзывать из дому. Что-то необычайное, невиданное, приближение которого беспокоило меня еще вчера, надвигается на нашу долину неудержимо.

Заглянув в мастерскую, замечаю, что здесь, как и в хате, стены и пол то и дело трясутся, отчего дедушка хмыкает в свои усы громче обычного. Он расхаживает взад-вперед с руками, сцепленными за спиной, и вижу – ему не работается, не сидится под крышей. Когда он выходит на двор и сворачивает в проезд между хатой и мастерской, чтобы посмотреть на дорогу, я важным шагом, тоже с руками за спиной, следую за ним.

Но на месте дороги сегодня – черное чавкающее месиво. Расплескивая его по бокам, откуда-то с пустых полей в село вползает бесконечное существо грязного, вихляющегося обоза. От неожиданности такого дикого зрелища мне хочется прищуриться. И тогда оно делается похоже на громадную сороконожку. Или на толстую пятнистую змею. Но если одолеть оторопь и не жмуриться, в этом существе можешь различать всё по отдельности: танкетку, наподобие той, что чуть

не загорелась на нашем подворье, трактора, тянущие за собой пушки с длинными как бревна, стволами, телеги, еще пушки, большие тупорылые машины-грузовики с солдатами наверху, а на обочинах – целые толпы пеших солдат, угрюмых, измызганных грязью, а за ними снова танкетки, грузовики, изредка легковые машины, и их сзади то и дело подталкивают по нескольку человек, заляпанных жижей...

Эта жижа, похоже, хочет подобраться к самому рву, отделиющему проселок от нашего подворья.

– Утикають, – говорит дедушка. И помолчав, добавляет не очень мне пока понятное:

– Ис-ход.

Сегодня немцам и румынам, что проходят и проезжают мимо, совсем некогда глядеть на нас, и нам поэтому не страшно, лишь тоскливо и угарно подолгу стоять у них на виду. От всхлипывающей, чавкающей, расквашенной колесами, ногами и копытами черной дороги наползают сизые зловонные клубы чада.

Не видно конца-края этому, как дедушка сейчас сказал о нем, исходу. Мы быстро изнемогаем от мрачного зрелища и уходим назад. Он – в мастерскую, а я задерживаюсь у двери коровника. Над яслями светлеют рога исхудалой Красули. Она отрывает башку от тощего навильника соломы и недовольно взмыкивает. Ей, наверное, скучно жевать старую сухую солому, но сено, что лежало для нее наверху, под крышей, закончилось, а молодая сладкая травка еще не вышла

на волю. По грустным глазам Красули вижу: ей тоже не нравятся тряская земля под копытами, противный запах, проникающий и сюда от дороги.

Мне кажется, всё сейчас томится и изнывает, устав от долгого ожидания, – темные стволы акаций за хатой, куст сирени, вишни и сливы нашего сада, тучи над селом, все серые хаты, видные в долине, гора напротив нас, на гребень которой медленно вползает, шевелясь, топорщась дулами пушек, хребет нескончаемого обоза. Да и ползет ли он? Может, застыл в изнеможении, не в силах вскарабкаться наверх? Может, сама земля, рассевавшаяся от чуждой тяжести, не желает больше нести на себе груз гусениц и шин, замордованных тяжеловозов? И потому, сколько ни кидают в ямины хвороста, жердей, ящиков, – всего твердого, что только попадается им на глаза, она отказывается держать их на себе. И потому они бросают по обочинам заглохшие грузовики, обломки телег, ошметки, скарб.

Уже в глазах у меня зарябило – от напряжения, от машинной гари. Уже шея устала то за хату глядеть, то снова на долину и на гору за ней, – членистоногое чудище ползло и ползло на брюхе, оглашая село нутряным воем, выхаркивая смрад, подрагивая пятнистой, в сырых бородавках грязи, чешуей.

Как ни старались дедушка с бабушкой делать вид, что ничего необычного не случилось, что они заняты, чем и всегда, – по дому и возле дома, но то и дело и они, как и я, поглядывали – то на дорогу, что за хатой, то на дорогу, что

карабкалась в гору. И я читал в их глазах тоскливое, из последних сил, ожидание: ну, когда же, сколько же еще их тут пройдет и проедет, когда же покажутся последние?

Уже по всем приметам и дневной немочный свет начал иссякать, а они влеклись понурыми тенями, прибывали и прибывали. И не с того ли самого дня вошло в меня подсудное бессловесное знание, состоящее в том, что надсадно ждать никого и ничего не надо: чем сильнее ждешь, тем ожидаемое сильнее сопротивляется. Нет, лучше оставь выглядывать и ждать, отвлекись на что-нибудь совсем иное, перестань ждать, перестань томиться – и разрешение придет само.

Но что же вдруг за тишь такая, от которой в ушах звон? Надо же, пусто! На дороге за нашей хатой – пусто! Только жижа в колеях еще колышется, приходя ото всего в себя. А оглянувшись на долину, мы еще застаем над горой, на низкой полосе убывающего света, самый хвост обоза, с какими-то царапающими небо горбами – то ли грузовиков, то ли самоходок, то ли походных кухонь. И подвижный, вихляющийся, как оглобля, черный ствол пушки.

Пан

Разве не вчера прошли от нас немцы и румыны? Но какие перемены вокруг! Солнце будто пляшет над селом. Долина заполнилась мягким теплом, воздух ласково тормошит ветки садовых деревьев. Беззаботно купаются в лучах света желтые бабочки, и сиреневый куст набухает большими светлыми почками. На глазах высыхает исхлестанная колесами дорога.

Но почему вдруг мама, налетев неизвестно откуда, больно дергает меня за руку и, ни слова не говоря, тащит за собой в хату?

Двумя комками вкатываемся – из большой комнаты в малую. Ну, что я натворил такого?

Хочу спросить, а она затыкает мне ладонью рот, впихивает за угол платяного шкафа.

– Ну, що, стара!?! – гремит из сеней, надвигаясь, чей-то мужской рык. – А тэпэр... нэсы мэни всэ исподне...

– Чие исподне? – чуть не плача спрашивает бабушка.

– Та нэ твое ж, суко! Дэ ты, заховала исподне... свога чоловіка, растаку його мать?..

– Нидэ я не заховала! Пидождить, панэ, зараз прынэсу. С этими словами бабушка кидается в нашу комнату, но, увидев маму и меня, торчащих в углу, в ужасе показывает нам ладонью, чтоб молчали. И сама тут же широко распахивает

дверцу шкафа, чтобы прикрыть нас. И кричит:

– Зараз нэсу, панэ...

– Мэнэ, суко, нэ обманэш!.. Сам визьму.

Грохоча чёботами, он вваливается в комнату. Мы с мамой его не видим. А он нас?

Оттолкнув бабушку от шкафа, запускает руки на полку, где лежат чистые, отглаженные дедушкины рубашки. Мы слышим его сопение совсем рядом с собой. Он него нестерпимо разит – самогоном, табачищем, конским потом, вонючей овчиной полушубка. В щели между шкафом и дверцей промелькивает то бурая папаха, то багровая щека, заросшая серой щетиной, то громадные ручищи с черными ногтями. Он комкает, рассовывает рубашки себе за пазуху. Одну, другую...

– А дэ ци... тьфу!.. як их... кальцоны? Куды заховала?.. Чи твий колгоспнык кальционив не носыть?

– Та ось же воны, – услужливо подсказывает бабушка. И снова в голосе ее – слезная дрожь. – Бэрыть всё, добрый панэ. Тильки чоловика мого видпустить... Нащо вин вам, старый?

И, уже топоча из комнаты на двор, «добрый пан» бросает в шутку:

– Нащо?.. А нэхай у лиси пожывэ з намы, козакáмы.

Мы с мамой стоим, не шевелясь. Боязно даже дверцей шкафа скрипнуть. А вдруг вернется?..

Но когда со двора доносятся ржание и перестук лошадиных копыт, мама решает: теперь и нам можно выглянуть из

хаты.

Едва вынырнули на солнечный свет, видим: зря она заторопилась. Крупный «пан», потолстевший от белья, рассованного за пазухи кожуха, до сей минуты никак не может вскарабкаться на коня. Бабушка моя бедная! Зыркнула в нашу сторону и, обхватив один его грязный чёбот за подошву и голенище, с натужным стоном поднимает пьяного вояку наверх. Он, наконец, забрасывает вторую ножищу за лошажий круп.

Нам бы с мамой отпрянуть в сени. Но она уже не владеет собой. Снова рвет меня за руку.

Проносимся мимо куста сирени. Выскочили на край дедушкиной пахоты, еще невзборонованной, сырой. Споткнулись о первые же комья, застреваем в вязких бороздах. Хочу крикнуть: мамочка, что ты делаешь?.. ты же мне руку отрываешь!.. Но у нее самой так жалобно скулит в груди. И ей, и ей хочется закричать. Только этот, на лошади, он же сразу услышит, поскачет за нами... А не он, то какие-то еще. Сколько же их? Кажется, все, ухмыляясь, смотрят за нами!.. Откуда вдруг налетели? Забрали дедушку, хотят увести в лес... Мамочка, уже воздуха не хватает... Не одна рука, вся грудь болит. Ма-ма, ты же оторвешь мне руку... Не могу больше бежать... Лучше упасть, лечь... Разве мы куда-то прибежим?.. И зачем, если дедушку забрали? Без них, без дедушки, без бабушки разве мы одни выживем?.. Мне уже воздуха не хватает, мама, бабушка... Воздух, да он же грудь

мне распяливает... И ноги... уже не могу высовывать их из
рыхлой земли... бабушка, помоги нам...

В подвале

Кто так мягко опускает меня под руки в темную прохладную ямину? Это она, тетя Лиза, крестная моя. Только она всегда, сколько помню ее, такая мягкая. Она и тут, во тьме, так ко мне добра и ласкова. Слышу, она грустным своим мягким голосом просит кого-то, и нам с мамой зачерпывают из ведра, приносят в ковше такой вкусной колодезной воды... По маленькой ручке, по голоску нежному догадываюсь, – ну, конечно, это же она, сестричка моя любимая, Тамарка подает воду.

Пью жадными глотками, передаю маме.

– Та-мар-ка, – едва выговариваю дорогое мне имя.

– А?.. Що, мий Юрычок?.. Ты нэ злякався? – спрашивает она шепотом.

– Ни.

Я совсем не испугался? Просто, нам было так тяжело бежать. Мы почему-то кинулись поперек поля, а легче было бы бежать к их хате тропую, по которой сама Тамарка обычно прибегала к нам.

Да, она всегда прибегала сама, и я, поджидая ее на пороге или на высоком деревянном помосте между хатой и коровником, уже издали видел ее подпрыгивающую из травы золотистую головку с развевающейся челкой. И сердце во мне при этом екало и подпрыгивало от радости. И нам всегда так

славно было играть вместе. Она прибежала, не боясь даже немцев и румын. Прибежала даже по холоду, даже в темноте.

Однажды вечером вбегает, запыхавшись, а бабушка как раз огонь растопила в плите, чтобы больше тепла поскорей выпустить в хату через духовку. Тут с холода и дедушка заходит. Садится поближе к плите, растирает руки, но никак не может согреться и просит, чтобы мы с Тamarкой, набирая из открытой духовки полные жмени горячего воздуха, подносили ему в карманы и под пиджак закладывали.

Мы, чередуясь, так ловко согреваем дедушку в четыре руки, что он вскоре уже пыхтит в усы и покряхтывает от удовольствия. А бабушка, с мягкой улыбкой глянув на нас, проносит свое «Кумэдия».

– А тэпэр слухайтэ, диты, – откашливается дед Захар, пыхтит в усы и – начинает нараспев:

– Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. Дедушка, найди мне беленький грибок... Ты хотел мне нынче сказку рассказать... Посулил ты белку, дедушка, поймать... Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток.

Какая же необыкновенная сказка!.. Вот дедушка, вот мастер!.. У него ведь получилось, будто это мы сами с Тamarкой просили не у кого-то, а у него разных себе лесных подарков. Каждое слово наших просьб было нам так понятно и дорого, что мы – и в тот вечер, и позже – при всяком удобном случае умоляли его рассказывать чудесную сказку снова и снова. И быстро запоминали – и про свисток, и про грибок,

и про белку, которая, оказывается, как он объяснил, прыгает по лесу с дерева на дерево, размахивая пушистым хвостиком и собирая за щеки орешки. И, конечно, про само дедушкино обещание мы не забывали. Особенно же легко запомнила все слова Тамарка, так что научилась вскоре и вслух пересказывать.

Но теперь, в темноте, я собрался уже прошептать ей на ухо, что пьяный «пан», от которого мы с мамой прибежали к нему, пригрозил увести нашего дедушку куда-то в лес. А что будет с бабушкой, тоже остается неизвестно...

Но не успел я и рта раскрыть, как вдруг откуда-то сверху, над потолком подвала раздался такой страшный треск, что мы все, кто тут сидел, в немом ужасе посыпались на землю. Почти тотчас с одного боку черная стена просела, и в темноту вонзился резкий, безразлично выщупывающий нас свет. Из щели зашуршала пыль, и посыпались вниз сухие комья земли. Сразу запахло старой картошкой, плесенью. То самое солнце, что с утра так весело плясало в небе, сейчас сквозь завесу пыли будто пересчитывало без всякой жалости каждого, кто тут прячется. Мы зашевелились, зачихали, закашляли. Кроме нас с мамой, тети Лизы и Тамарки в подземелье обнаружилось еще многое множество народу – малых и старых. Кто лежал, свернувшись калачиком, кто сидел, скорчившись, бормоча что-то про себя.

Но мы не успели опомниться. На дворе, под солнцем что-то еще треснуло, сотрясло небо и землю громче любого гро-

ма – раз, другой, третий...

Лишь ближе к вечеру, когда неизвестно кем затеянная пальба вдруг прекратилась (кто считал, что стреляли минами, кто видел летящие сверху самолетные бомбы) – бабушка пришла за мамой и за мной. Она рассказала, что дедушка дома, но отсыпается в яслях, и будить его нам не нужно. Оказывается, эти бандиты, что вломились утром на наше подворье, потребовали от него вина. Хорошо еще, у него с зимы оставался целым маленький дубовый бочонок, зарытый где-то в лесу. Ему скрутили руки за спину, кинули на телегу своего обоза, пригрозили, что, если обманет, там же, в лесу на кол его посадят... А когда откопали и распили бочонок, принялись переодеваться в белье, награбленное по хатам. Всё свое исподнее на них уже вшами кишело или сгнило... Напоследок кинули дедушке порожний бочонок, велели, чтобы в следующий раз готовил для *вильных козáкив* посудину в два раза больше.

Семечки подсолнуха

Иногда мне кажется: почти все детские свои годы, прошедшие на войну, я проспал. Чтобы меньше видеть, меньше скучать, меньше бояться и меньше задавать ненужных вопросов.

Да и в ту ночь спал себе, спал на печи, в ее теплой пазухе, где так приятно пахнет нагретыми кирпичами. Но вот звук какой-то маловнятный мягко вынул меня из сна.

По заведенной привычке я чуть приоткрыл занавеску, потому что звук шел снизу, из хаты. Посредине комнаты, кажется, прямо на полу, горел фитилек керосиновой лампы. Вокруг него выступал из мглы круг каких-то темно-серых неуклюжих теток. Их было непривычно много, и они молча, сосредоточенно... лузгали семечки. Они были все в платках, шерстяных или суконных, в зимних одеждах, телогрейках или овчинных шубенках. И сидели почти ровным кругом, глядя на слабый огонек перед собой. Кто на табуретке сидел, кто на лавке, а кто, может, и прямо на ряднах, которые бабушка настелила вместо испорченных немцами.

Поначалу я почти оторопел от незнакомого спросонья вида этих теток. Но когда пригляделся, то различил среди них и бабушку Дашу, и тетю Лизу. И успокоился. Щелкание семечек *соняшника* – кто же этой забавы не знает? Разве я сам никогда не жевал гогушки – очищенные от шелухи ядрыш-

ка семечек? Странность была в том, что они собрались для этого занятия таким большим кругом, да еще посреди ночи, чуть ли не всем *колгоспом*, и лузгали молча, лишь иногда кто-то вздыхал.

Наши сельские женщины, когда щелкают семечки, не сплевывают шелуху на пол, а всякий раз кончиком языка поддвигают порожнюю кожуру на край нижней губы, и там это *шелуминня*, смоченное слюной, собирается, нарастает целой бородой и потом само отваливается на подол или на пол. Меня очень забавлял вид такой раз от разу вырастающей черно-серой бороды, и я сам, жуя семечки, с недавних пор старался, чтобы и у меня выросла борода подлинней, но это не очень получалось.

Но почему всё же они собрались посреди ночной темени? И почему молчат, отчего вздыхают?

Наверное, сама бабушка, пока с вечера топилась печь, нажарила целую сковороду семечек, и пришла старшая из дочерей – тетя Лиза, пришли соседки. Не могу различить, здесь ли мама и вышла ли тетя Галя. Нет, не вижу их. Мама хотя и любит, как я знаю, семечки, но при посторонних в руки их не берет. А тетя Галя у нас медсестра, и жевание семечек, как я тоже заметил, презирует.

И дедушки между ними не вижу. Да и что бы ему тут делать? Не мужское это занятие – лузгать соняшник. Может, в мастерской спит?

Меня и самого опять клонит в сон, потому что глядеть

долго, как они всё молчат и вздыхают, скучно.

Но через какой-то срок я снова пробуждаюсь и вижу: внизу у них ничего не переменялось.

– Бабушка, що такэ? – не выдерживаю я.

Бабушка Даша, а за ней и все остальные оборачиваются на мой обиженный голос.

– Та ничего... Спы соби на здоровля, – строго говорит она. Отирает от лужги подбородок, но снова, как и все, принимается за семечки. Но теперь мне уже не спится. Я ворожаю, тоже начинаю вслух вздыхать. Не оттого, что и мне захотелось семечек. Просто, очень хочется узнать, почему это они молчат. Могли бы и поговорить, как обычно среди женщин, ну, хотя бы о немцах, о том, как они целый день шли через село бесконечным обозом и только к сумеркам ушли самые последние... Или о тех пьяных бандитах и о той бомбежке, что была совсем недавно. Или о вчерашней ночной страшной стрельбе, когда над долиной пролетали в тучах визжащие железяки. Мы сидели с дедушкой на нашей глиняной завалинке, потому что внутри, в комнатах или на печи мне было бы еще страшней, а дедушка своими тихими объяснениями и покашливанием меня успокаивал.

– Чуешь? Як гром грымьть... У-у!.. железяка скажэна! – мотал он головой, будто восхищаясь дикими звуками. – А ось цэ? Мов свиня недоризана...

– А, можэ, то якесь колесо скаче з горы у долину? – постарался я поддержать его шутку.

– Може, й так, – соглашался дедушка Захар. – З той стороны бьютъ наши, – кивал он на гору, что темнела у нас за хатой. – А з той – воны.

– Нимци?

– Ну да. Воны.

– А, можэ, ци – паны?

Дедушка хмыкнул насмешливо:

– Та яки ж воны паны? Так, бандюки.

– А що ж цэ такэ важкэ бье? – допытывался я.

– Ар-ти-ллeрия, – произносил он красивое, но непонятное мне слово. – Пушки у нимця бачив?

– Ну, бачив.

– То воно и е. Ар-ти-ллeрия... А ти железяки – снаряды. Не дай Бог, стриху нам пидпалять.

– Та воны ж дэсь высоко, далэко, – храбрился я изо всех сил.

– Высоко та далэко, – соглашался он. – А комусь и близько.

Так мы разговаривали негромко, и я уже почти начал привыкать к этим визгам, свистам, воплям, тяжелому уханью и скрежету, раздирающим небо. Потому что дедушкино присутствие, его тихий говор убеждали меня, что с нами никакой беды уже не может больше случиться.

И тут враз стало тихо. Тишина заполнила всё беззвездное небо, будто невидимая вата укутала долину. Тогда, подождав еще немножко, громко зевнув, он сказал:

– Ну, ступай до хаты.

...Тихо за окнами и сейчас. Почему же они сидят молча и только раз от разу вздыхают? Но вот кто-то из них оглядывается на темное окно, прислушивается. Отчетливей затикали в углу под иконой, будто расщелкивая кожурки секунд, настенные ходики, подгоняемые тяжелыми гирьками. Все в комнате как-то разом опомнились, стряхивают с подолов сор на пол, замирают. Только бабушка шелестит веником, чтобы собрать в совок горку мусора и высыпать в печное остывшее нутро. А потом снова садится рядом со всеми. И уже не лузгает никто.

Прислушиваюсь и я. Нет, ничего за окнами не слышно. Совсем ничего.

Но кто-то из них шепчет, и мне кажется, это бабушкин голос:

– Ша, дивчата... нэначе... наши йдуть.

Кто идет? Никто там не идет.

Но они почему-то сидят все вместе и молчат.

Я забираюсь с головой под тулупчик и быстро забываюсь в его мягкой, теплой темени...

Наши йдутъ. Седой

Но утром озадачивает меня присутствие в хате каких-то еще людей. По привычке, выглядываю в щелку и вижу: они тоже в военной форме. Но не такой, как у немцев или у румын. И говорят вроде бы на понятном языке, какой я уже слышал от деда Захара, когда он рассказывал нам с Тamarкой про «белку и свисток». Или на разных папиных и маминых пластинках слышал. Значит, эти и есть *наши*?

На всякий случай, я не спешу подавать голос. Мало ли кто они? Тот, пьяный, в грязном вонючем тулупе, что запихивал себе за пазуху дедушкины рубахи и другое исподнее, тоже ведь был не немец, не румын. Но разве он был наш? То банда была. Для меня *наши* – это мой отец, которого я совсем не помню и не могу представить, какой он из себя, и еще дядя Боря, мамин брат, и дядя Ефим Кущенко, муж тети Лизы. Я уже слышал, что они – на фронте, но мне ведь запрещено было расспрашивать и рассказывать о том, что такое фронт. Да кому и как расскажешь, если я даже не умею себе представить, где он, фронт? Недавно я застал бабушку Дашу за разглядыванием необычной картинки с черно-белыми людскими фигурками на ее блестящей стороне.

– Дядя Боря, – показала она, не прикасаясь, пальцем на красивого коренастого военного.

Дядя Боря стоял в темной гимнастерке. Широкий пояс

был так туго затянут у него на животе, что казалось, он только что сделал глубокий вдох, а выдыхать воздух совсем не собирается.

– А цэ кто? Мий батько? – спросил я, показывая на другого военного, стоящего рядом с дядей Борей. Он был повыше ростом и показался мне еще более красивым.

– Ни, цэ хтось другий, – помотала головой бабушка.

– А дэ воны стоять?.. Там що?.. Фронт?

Бабушка оглянулась на окно, хотя в хате и за окном ничего не было:

– Ша... Мовчи.

И отправилась в свою с дедушкой комнату, чтобы спрятать картинку.

Мне стало обидно: всё молчи и молчи. Я надул губы и вышел на двор. А когда через время снова заглянул в хату, бабушка Даша сидела перед устьем топящейся печи без платка, расчесывала на одну сторону деревянным гребнем свои длинные полуседые волосы, и я увидел в свете печного огня, что из глаз у нее текут слезы. А ведь она при мне никогда раньше не плакала. Разве лишь однажды, когда на патефоне еще оставались иголки, и чей-то красивый женский голос запел печально – *«Трачу лита в лютим гори, тай кинця нэ бачу. Тильки тоди и полэгша, як тышком поплачу»* ... И то слез бабушкиных я не увидел. Она просто стояла лицом к окну и пошмыгивала носом.

Заметив, что я вернулся, бабушка утирает лицо тыльной

стороной ладони, заматывает волосы на голове, забирает под платок и шепчет:

– И колы вжэ воны прыйдуть, Господи?

... И вот теперь вижу, какие-то военные пришли. Но откуда мне догадаться, что это и есть те наши, о которых ночью вздыхали и шептались женщины? Если бы это точно были *наши*, ко мне тут же и подошли бы, все вместе – мой отец, дядя Боря, дядя Ефим Кущенко.

Лучше мне еще потерпеть, не спускаться вниз неизвестно к кому.

Тут шевеление мое замечает один из них, делает шаг к печи и распахивает занавеску. У него светлые, как ржаная солома, прямые и длинные волосы. Красивым махом шеи он отбрасывает волосы со лба назад и улыбается мне:

– Эгей!.. А ты что тут, на целый день залег?.. Петушок пропел давно... Уж не заболел ли ты у нас?

– Ни, – набычиваюсь я.

– Ни?.. Вот и молодец! Тогда действуй! – он протягивает руки к лежанке. – Прыгай прямо ко мне.

– Ни, – и я отползаю от края.

– Опять «ни»! Ну, почему же «ни»? – продолжает он улыбаться во все зубы.

Я хмурюсь еще больше и вдруг сердито выпаливаю:

– Бо в тэбэ воши!

– Что?.. Что ты сказал?.. Это у меня?... вши?!

От обиды он забывает отбросить назад свои светлосоло-

тые рассыпчатые, будто совсем недавно высушенные после мытья волосы. Они закрывают ему лоб, брови, но всё равно я вижу, как он густо краснеет.

– Ага. Воши, – неуверенно шепчу я.

– Ах, вот оно что!

Он отшатывается от печи, решительно шагает к бабушке, которая как раз каталкой раскатывает на столе тесто.

– Тетя!.. А почему это ваш внучок считает, что у меня – воши?

– О, Господи! – всплескивает она ладонями, и щеки ее тоже заливает краска стыда. Она что-то негромко объясняет военному, и я вижу, как он раз и другой строго озирается на меня.

Затем бабушка подходит вместе с ним к печке и говорит мне сердито:

– А ну, давай, злазь и нэ дуркуй!.. Хиба ж не бачишь? То *наши* ... *Наши* прыйшли, зрозумив?.. Руськи, Красна Армия... Дай Бог, скоро и батько твий вэрнэться.

...После завтрака он выводит меня за руку на двор.

День стоит теплый, но серый, а он всё равно щурится от света, набирает полную грудь воздуха, шумно выдыхает.

– А ну, показывай, выросло тут у вас что-нибудь или еще не выросло?

Берет мою руку в свою, и мы идем в сторону грядок. Как бы хорошо, думаю я про себя, чтобы вот таким был и мой отец. Таким же веселым военным, с такими же светлыми

длинными волосами, которые смешно норовят упасть ему на лоб, а он их так красиво, будто жеребец свою подстриженную гривку, закидывает назад.

Возле ближней грядки он, скрипя голенищами сапог, присаживается на корточки. Я вижу у него на плечах погоны, и на каждом – по три маленькие зеленые звездочки.

Теперь лицо его почти вровень с моим. В светлых глазах его играют радостные искорки. Он озирает грядку и недовольно хмыкает, потому что на черной земле видны следы чьих-то чужих сапог. Я хочу пожаловаться ему, что это немцы натоптали, когда неслись, чтоб загасить свою танкетку. Но сочные зеленые стрелки, хотя бабушка еще не успела выровнять землю, всё равно вытягиваются вверх.

– Ишь ты, какой лук! – восхищается он, будто впервые в жизни видит грядку.

– Ни, – поправляю я его. – Цыбуля.

– Да лук же это, лук!

– Ни, цыбуля! – упираюсь я.

Он хохочет, поднимается во весь рост, хватая меня подмышки, легко отрывает от земли.

– Может, тебя так и прозвать надо: хлопчик Ни?.. Ладно, будь по-твоему. Цыбуля так цыбуля!

Мне хорошо сидеть у него на груди, и я робко прикасаюсь щекой к его светлым шелковистым волосам. Жаль, ни Тамарка, никто другой из фёдоровской малышни не видят, как хорошо мне сидится на его на руках.

И так жаль, что в этот же самый день он уйдет с нашего двора навсегда.

Позже, через несколько лет, уже в московские свои годы, я буду всматриваться, с тайным желанием узнать его, в лицах военных и гражданских молодых людей со светлыми длинными волосами. Но лишь один-единственный раз мне помечтается: а что если это он?

Отец взял меня на трибуну стадиона «Динамо». Играла наша с ним любимая команда «ЦДКА». Из семи безответных голов, забитых ею в этом матче, больше всех, кажется, четыре, было на счету у нападающего со светлозолотистой копной длинных прямых волос, которые он то и дело небрежным движением головы откидывал назад. Имя забыл, а фамилия его была Коверзнев. После каждого мяча, вколотого им в чужие ворота, она громко звучала из репродукторов. Бывалые болельщики с нашей трибуны, сплошь болевшей за армейскую команду, с любовью и восхищением называли его «Седой».

И, напоследок, кое-что о шелканье семечек... Вначале девяностых годов ушедшего века я вдруг стал замечать, как много на московских улицах, в подземных переходах, в вагонах и тамбурах электричек валяется шелухи от подсолнуха, как много везде – у входа в метро, на любом людном пятчке – появилось теток с юга России или с Украины, продающих жареные семечки врассып, маленькими стаканчиками, или в бумажных кульках, и как много вдруг повсеместно

нашлось охотников до этого немудреного, самого простонародного, в иные времена презираемого лакомства. И невольно мне вспомнилась наша хата в Фёдоровке, на месте которой уже давно растёт бурьян. И, кстати, вспомнились многочисленные рассказы, устные и письменные, о том, как ошеломляюще были замусорены подсолнухом улицы двух российских столиц в годы революции, гражданской войны.

А вспомнив эти, вроде бы не так уж и связанные друг с другом времена и обстоятельства, я совершенно неожиданно для самого себя сделал вот какой вывод: выходит, что, по крайней мере, у нас, в России, лузганье семечек не раз и не два оказывалось чуть ли не главным средством народной самозащиты от навалившихся непереносимых бед и наваждений. Пусть называют это занятие плебейским, неприличным, а оно, выходит, – лучшее терапевтическое средство от вопиющего неприличия, которым обрастает, как коростой, сама действительность. Своего рода массовое юродство, самый простецкий социальный протест: ну что, великие и всемогущие, кичащиеся богатством, властью, безмерной своей силой, – поплевываете на нас?! Поплевываете и думаете, что притерпелись и уже не замечаем? Так вот же, получите: и мы отплюемся, отшвыряемся лузгой от всех вас! Жуем себе потихоньку, жуем, и светлое подсолнечное молочко исподволь исцеляет нас от вашего наглого, но временного всесилья. Успокаивающая монотонность жевания позволит нам дотерпеть, дожидаться, когда вы, наконец, сгинете, сами превратит-

тес в шелуху, в прах и тлен.

Так что, титка, приехавшая в Москву, с мешком подсолнуха за плечом, *«щоб заробиты якусь копийку»* и тем самым уберечь свою семью от нового самостийного голодомора, насыпь-ка и мне, пожилому уже человеку, в карман стаканчик еще теплых после сковороды семечек.

Сжигание лоз

С каким рассеянным прищуром греет сегодня солнце деду старую кепку и мою макушку!

Сколько невидимой доброты разлито в шевелении воздуха!

Что за ласковое, мягкое тепло с утра пораньше раздалось во всю ширь небесного купола, до самых его краев! До тех краев, за которыми, как я знаю про себя, больше уже ничего не бывает, потому что разве мало нам всем и этого света?

От колодца по межевой тропе мы поднимаемся с дедом в гору мимо соседских подворий и огородов. Он идет первым и как-то особенно сосредоточенно похмыкивает про себя. Левый карман его потертого пиджака топорщится. В мастерской еще, перед дорогой, увидел я, как он сунул в этот карман какие-то ножницы с короткими, загнутыми в одну сторону лезвиями, похожие на птичий клюв.

Для чего они, такие? Куда мы идем? Спросить бы? Да уж очень много по пути всего вокруг разного-преразного, что и спрашивать некогда.

Одних только бабочек в небе сколько! Вот уж кто умеет радоваться внешнему теплу! В их прихотливых перепархиваниях с места на место – такое беспечное веселье, такая кружащая голову свобода, что и я начинаю припрыгивать на ходу, взмахивать руками. А что если бабочки даже умеют

петь, перекликаются с птицами, с петухами и с выводком желтоклювых цыплят, что перебегают поперек тропы вслед за сварливо шипящей квочкой?

Разомлевший воздух кишит ласточками, скворцами: где-то в подоблачном мареве висят невидимые жаворонки и безостановочно просыпают на нас свой свежий серебряный хохоток.

Но скворцы-то, скворцы, – как их только земля всех умещает! Сытые, довольные, с каким-то фыркающим, журчащим звуком проносятся тучами с огорода на огород, расхаживают вразвалочку по грядам, молча вертят глазками с боку на бок, выискивая в земле какое-то с осени сюда запавшее семечко. А то враз облепят ближайшую грушу. А то копошатся по старым скворешням, шипят по-кошачьи. Или вдруг примутся орешки, что ли, расщелкивать? Иногда, если прижмуришься, покажется: это не скворцы вовсе, а пригоревшие куски сала шкворчат на большой сковороде.

А свежие ростки трав вдоль тропы! И на эту братву готов я пялиться неотрывно. До чего все нарядны, каждая в свой цвет: ярко-зеленые, желтые, розовенькие, сочно-багряные, в масть свекольной мякоти... Ай да травки! То узкие, как иглы, а то наподобие изогнутых птичьих коготков, клювиков, плотно сжатых или жадно разомкнутых, будто для хватания пищи. А то какие-то диковинно заломленные, будто петушиные гребешки... Да не от них ли самих исходят все эти звуки дня: трогательное попискивание, залихватские трели,

шорохи, скрипы, треск, взвизги, шкворчание, пересмех, перепорх, блаженные вздохи, детское побряхтывание, потягивание в теплых земляных кроватках?

От них, наверняка от них! Только мне прислушаться некогда. И некогда подглядеть за каждым ростком, бережно наклонясь над ним, затаив дыхание, чтоб не спугнуть. Уж тогда бы я наверняка увидел, как они раззевают навстречу солнечному дыханию свои клювики, как наливаются алым соком их гребешки и хохолки, как протыкают зеленые шильца, жальца, иглы и острые язычки всё, что мешает им на пути к свету: старые жухлые листья, какие-то усохшие стебельки, всякую травную рухлядь, прошлогодний сор и хлам, – и как медвяный прыткий коготок, поднатужась, отваливает в сторону целый ком земли.

Вприпрыжку нагоняю деда, потому что он, вижу, остановился, крутит головой, то ли с восхищением, то ли с укором:

– Ого! Яки ж воны повырастали!

– Кто, диду? – озираюсь и я на всякий случай.

– Лозы.

Он окунает левую руку в карман, достает оттуда ножницы-кривули (дедушка у нас, как говорят дома, *левша*, значит, всякую работу делает левой рукой, а правой лишь помогает). Несколько раз щёлкнув в воздухе ножницами, проверив, не потеряла ли упругость пружина, которая их разжимает, он свободной правой подхватывает ближайшую к нему краснокожую ветку, что красивой полудугой отвисла от невысоко-

го, похожего на необструганную деревяшку стволика.

Не успеваю и глазом моргнуть: лезвия звонко кладают у самого почти ствола, а гибкий прут летит к моим ногам.

Поднимаю его, разглядываю. Это и есть лоза? Обычная вроде бы ветка, но – еще и *лоза*. От нее, особенно от срезанного места, исходит кисленький, удивительно жалостный дух. Так почему-то и хочется лизнуть срез прута. Да и на вид лоза мне очень-очень нравится. Это не то, что всякая другая ветка – яблоневая, сливовая, дубовая... У лозы прут чистый, без шипов и грубых наростов. Она гнуткая, эта лоза, с вишнево-красной, младенческой какой-то кожицей, чуть растрескавшейся там и сям. А ножницы дедовы кладают почти беспрерывно, да еще со щегольским птичьим прищелчком.

Гляжу: утолщенная макушка стволика затопорщилась множеством отростков-коротышек. Жалкий обкорнанный уродец – вместо пышного, прыщущего лозами во все стороны куста. И для чего так?

Но дедушка пыхтит в усы довольноно:

– О-о!.. К осэни будэ добрый виноград.

И отходит к следующему кусту. Снова заполняют воздух веселые сочные щелчки. Но мне досадно. Вернуться домой, оставить его одного? Ишь, какие дела: он собрался обстричь все-все лозы, все-все кусты подряд? А тут их во-он сколько! В три или четыре линии выстроились, один стволик за другим, от нас – и выше в гору. Беспокойство то проникает в

меня глубоко, то отпускает. Разве мой дед может делать что-нибудь плохое? Я никогда не видел, никогда ни от кого не слышал о нем, чтобы он сделал что-то плохое.

Кляц-кляц!.. Цыть-цыть!..

Я, наконец, не выдерживаю, окликаю его дрожащим голосом:

– Ди-и-иду?

Он оборачивается, глядит с недоумением. Хмыкает, наклоняется до земли, сгребает целый пучок только что срезанных прутьев. Не спеша идет в мою сторону.

А, подойдя, чуть не раздраженно трясет в воздухе пучком лозы.

– Щоб ты знав: цэ всэ старэ... Старэ, розумиешь? Воно не дасть бильшэ доброго плода.

Небрежно кидает пучок под ноги, подгребает к нему прутья от ближних обстриженных стволов. Потом распрямляется, снимает со своей взмокшей лысины кепку, отирает сырой лоб рукавом пиджака, крестится мелким крестом и говорит как-то не по-своему, торжественно.

– «... якоже розга изсохнет, то собирают ее и во огонь вметають...» И сгорает!

Прислушивается, будто и сам хочет лучше разобраться смысл этих не обычных в его речи слов.

Но, будто спохватившись, нахлобучил на лоб кепку и уже обычными своими всегдашними словами заговорил:

– А дэ ж вогонь? Трэба ж вогню запалыты.

Трещат в его ладонях ломкие стебли прошлогоднего бурьяна. Я тоже, на дедушку глядя, сгребаю на меже всякую травную ветошь, подпихиваю сухие эти комки под горку хвороста. Дед уже извлек из внутреннего кармана серую тряпицу, в которой у него, знаю, хранятся кремь с огнивом и ветошь. С помощью их он искры огня высекает, когда нужно сигарку запалить.

Но кусок темно-рыжей ветошки ему теперь даже не понадобился.

Чирк-чирк!.. Сухие стебли, листья с едва слышным писком скруживаются в спиральки, седые, черные. Узкая змейка дыма, минуя прутья, проворно пробирается наверх. Первые оранжевые языки пламени исчезают вместе с дымом, но это не значит, что костер тут же и угас. Просто огонь стал настолько ярким, прозрачным, что его вообще не видно. Но только протяни туда руку – сразу укусит. Прекрасные мои лозы начинают в плавящихся струях жара потрескивать, пошипывать, изгибаться, лопаться.

А он снова ушел вперед, опять звякает проворными лезвиями.

– Давай – збырай всю лозу до огня! – кричит мне. – Щоб нэ згасло.

Моей досады как не бывало. Я улыбаюсь до треска в ушах: теперь и для меня есть дело!

Не торчать же всё время на месте, глаза на огонь! Я кидаюсь к обстриженным кустам, нагребая охапки прутьев по-

больше, ташу к костру. Нужно лишь постараться свою ношу подкидывать на самую середину, а то огонь уже, оказывается, проел малую дыру в груди лозы.

– Щелк-щелк! – хохочут кривули-ножницы в дедовой руке. Звуки лопаются в воздухе, будто поддразнивая друг друга. – Щелк-щелк?.. А що? А що?.. А ничего! А ничего!

Я сную взад-вперед – еще! еще!

– Щелк-щелк! – трещат ветки в пламени. Выстреливают угли, вонзаются в рыхлый пепел.

– А що цэ такэ?.. Що цэ такэ? – подсмеивается над нами скворец, черно-блестящий, как головешка, выкинутая из печи.

Чем быстрее ношусь я от дедушки к огню, тем прожорливей становится костер. Уже широкий круг седеет в его середине трубочками пепла. Значит, надо подгрести на порожнее место груды прутьев, что остались по краям кострища. Но я немного побаиваюсь. Жар так и пышет в лицо, щиплет руки.

А дед? О-го-го, как далеко он уже поднялся в гору! И удивительно: подстриженные им стволы-болванчики больше не кажутся мне уродцами. Они будто стряхнули с себя то, что мешало им шевелиться, путалось в ногах. Для них, похоже, начинается теперь какая-то новая, бодрая, даже веселая жизнь.

Игра огня всё более привораживает меня. Одурманивает голову вешний свет, горячий воздух, источаемый лозами дух

с кислоткой...

И как-то забываю про всё, про всех. Таинственная власть прозрачного пламени, струи жара, плавящие небесное стекло, отделяют меня от всего мира. Сплю ли с открытыми глазами? Ожидаю ли чего-то необычного, чудесного? Или просто-напросто нежусь в объятиях всевластной лени? Не знаю, сколько времени длится это забытьё, пока ровно нарастающий шум, как дыхание большого ветра, не накрывает меня...

Это дедушка, оказывается, приволок огромную охапку веток, из-за которой сам едва виден, – чтобы накормить напоследок огонь досыта.

И уж потом вялого, переполненного вешними шумами, звонами, дуновениями, отводит меня домой.

Добро

Сухой жар весеннего полдня. В такую пору, кажется, не только у меня, но у всего живого глаза слипаются, – у кур, у цветов, даже крылья у желтых бабочек не хотят распахиваться. Теперь бы в хату, в синюю ее прохладу, да подремать всласть на своей малой кроватке.

Но бабушка не позволяет. Пока мама в школе, а дед куда-то по своим делам отлучился, она устраивает в хате такой грохот и переполох, будто на всех осерчала и собралась всё-всё повыкидывать насовсем. Одни, что ли, голые стены оставит? Ну, всё не всё, а вижу: уже гора нашего добра вывалена на дворище в самых обидных для их внешности видах. Стулья, табуретки, лавки, кочерги, ухваты, полосатые рядна валяются кое-как: что вверх тормашками, что друг поперек дружки, а что даже не на траве, а в самой пылюке. И моя кроватка тут же, торчит на боку, не разберешь, где одеяло, где подушка, где матрац и простыня.

За что им всем и нам тоже такая немилость?

А вот за что. Бабушка, оказывается, к празднику, к *взлыкому святу*, задумала во всей хате обновить свежей промазкой наши глиняные, за зиму там и сям растрескавшиеся полы. Вот она и носится, запыхалась, раскраснелась, выкидывает наружу всё, что мешает ей дорваться до порожних полов.

Гляжу, уже и веником в коридоре машет и совком подгребают. Тяжелые, явно недовольные таким беспокойством, серые комки всяческого мусора очумело вылетают за порог.

Я сижу в тени сирени, рядом с одеялами и искоса поглядываю за бабушкой: что еще она придумает? Тень от сиреневого куста еще не густая, и мне скучно сидеть тут и ничего не делать. А она тем часом уже присела на корточки, принялась размешивать в старом тазу сырые комья глины, и раз от разу малыми струйками из кувшина еще подливает в таз воду. И месит, месит, месит руками, будто муку для пирога или вареников.

Тут как раз из-за хаты доносится полусонное тарахтение чьей-то телеги на дороге. Бабушка выглядывает за угол и вдруг подманивает меня рукой, выпачканной в глине.

– Бачишь на дорози конячу кучу?

– Ну, бачу.

Зеленовато-рыжая эта куча лежит поверх пыли свежим, еще чуть дымящимся караваем.

– Визьмы ось цэ порожне вэдэрко и прынэсы мэни ту кучу.

– Ни, – отвожу я глаза в сторону. – Нэ хочу.

– Чому?

– Та то ж... гимно.

– Э-э-э, – в досаде качает головой бабушка. – Сам ты... знаешь кто? Цэ – добро! Зрозумив? До-бро!.. А ну бижы швыдче!

Нахмурилась, замахивается лоснящейся от глины ру-

кой, – вот-вот шлепнет меня по штанцам.

Я нехотя беру ведро за дужку, плетусь в сторону дороги. «Добро»? А то я не знаю, что такое добро? Вишни, сливы, яблоки у нас в саду, хотя они еще зеленые, вот оно добро! А эта пакость, которую мне велено собрать в ведро? Ладно бы еще какой-то лопаткой сгрести, а то иди и дотрагивайся к вонючей куче голыми чистыми руками.

Но как ослушаюсь бабушку? Не могу же я поверить, чтобы она для чего-то надумала посмеяться надо мной, осрамить перед соседями. Раз велела, надо выполнять. Я же сам сколько раз видел, как дедушка, что-то про себя похмыкивая, но без всякого недовольства на лице, выгребает вилами из коровника Красулины блины, втоптаные ею за ночь в солому. И относит тяжелые навильники к ближнему углу поля, где снова накапливается у него темная горка перегноя. Потому что старую гору еще после зимы все наши взрослые однажды за какой-то час разнесли вилами и разбросали по всему полю перед вспашкой. А еще видел, как тот же неутомимый дедушка подтаскивает тяжкие сырые навильники за хату, где у него расставлены на ровной порожней земле деревянные рамки, и он их заполняет поровну этой ношей. По его объяснению, когда коровяки высохнут, станут кирпичиками-кизяками, можно будет ими топить нашу уличную печку-кутуню.

Но то взрослые дела и заботы. А я вот приплелся и стою чурбачком, будто мне велено сторожить ее, эту кучу, целый день. Да что там, вблизи она несколько не страшная. Только

побольше и погуще, чем жидкие коровьи нашлапки, в которые так противно бывает нечаянно вляпаться. Я озираюсь по сторонам: не подглядывает ли за мной кто-нибудь из соседских детей? Но дорога безлюдна. Только бабушка разогнула спину и глядит – то ли на меня, то ли куда-то мимо. Деваться некуда. Я окунаю пальцы в еще теплую, пахнущую конем и травами рыже-зеленую ковригу и за три или четыре раза переваливаю всю ее в ведро.

Бабушка с чуть растопыренными, побелевшими от глины пальцами ждет меня.

– А тэпэр дывысь сюды.

Она накреняет ведерко над тазом и почти треть навозной кучи вываливает на глиняный замес. И снова принимается месить, месить, подливая понемногу воду.

– Бэз такога добра, – объясняет, переводя дыхание, – глына, як пидсохнэ, зараз полопаецця, розтрискаецця... А навоз дэржэ глыну, мов найкрепший клэй. Зрозумив?

Вымесив содержимое таза до нужной мягкости, она уносит свое изделие в глубину хаты. Я беззвучно слеую за ней и вижу: грузно опустившись на колени, она окунает в таз мокрую мешковинку и начинает – с самого дальнего угла большой комнаты – мягкими полукругами замаскивать старый морщинистый пол свежим густым замесом. Но мне неловко беспрерывно пялиться на бабушкино занятие, и я так же тихо выбираюсь на двор.

Но даже отсюда слышно, как воздух в хате заполняется

бодрым духом быстро затвердевающей промазки. И – странное дело! – я уже не улавливаю в этом запахе совершенно ничего, что бы меня возмущало или коробило, но, наоборот, даже различаю ароматы каких-то полевых стеблей и цветков, пережеванных доброй колхозной конягой.

Полы быстро просыхают досветла. Не проходит и часа, а бабушка уже промазывает их поверху новым свежим слоем. И напоследок еще одним. Я то выхожу на двор, чтобы послушать, не проехала ли по дороге какая-нибудь другая телега, то издали наблюдаю за бабушкиными трудами с порога. Когда, наконец, она выплывает из хаты с тазом, прижатым к бедру, вижу: в нем остался самый малый остаток замеса.

Даже я устал сегодня от таких ее обильных хлопот и от своего в них, как выяснилось, неожиданно важного участия. Но вижу, бабушка так разгорячилась, что тут же принимается придирчиво озирать южную стену хаты, выискивая на извести трещинки, даже самые малые. И уже окунула тряпицу в таз, одну за другой выводит на стене темные кривые загогулины.

– А цэ для чого? – расстраиваюсь я, потому что такая была белая и чистая стена...

– А як ты думав? Вси люды добри биять свои хаты к *велькому святу*, а мы? До завтра посохнэ, и примемось за дело.

... Ближе к вечеру, когда возвращается из школы мама и раздается с дороги дедушкино благодушное похмыкивание,

в комнаты одна за другой возвращаются на свои привычные места все до единой безмолвные участники и помощники нашей всегдашней жизни: столы, стулья, кровати, всё-всё – наконец и свежие рядна, просохшие на солнце, вытряхнутые от пыли. Старые рядна, которые испакостили немцы, когда пожар в танкетке гасили, куда-то бабушка сразу выбросила. И до чего же приятно ступать босыми ступнями то по чистому полу, то по чистым, теплым ряднам, приближаясь к своей свежезастеленной кровати.

Тарас

Есть, оказывается, в нашей хате такие углы и пространства, о существовании которых я, при всём своем любопытстве, узнаю лишь нечаянно. Сколько раз пробегал-проходил по короткому коридору, – то на улицу, то с улицы – мимо какой-то невзрачной двери и не догадывался, что за нею – кладовка, а под ней еще и подпол.

И вот теплым осенним вечером вижу: из темной этой кладовой выкатывает дедушка на двор неохватной толщины бочку и, слегка крякнув, ставит ее на попа.

Кажется, два или три дня назад я уже видел ее перед хатой. Но она стояла не одна, а в соседстве с другими бочками, и не показалась такой громадной, как сейчас, когда мне пришлось быстро от нее пятиться по коридору. Из ее гулкой порожней глубины ворчало что-то басом: раз-давлю-у-у!

А тогда бабушка носила ведрами воду, выливала ее в бочки и смотрела, не польется ли из щелей. Если польется, объяснила она мне, значит, дубовые клепки разохлись, и нужно, чтобы вода в бочках постояла, и тогда дерево снова разбухнет, само закроет свои щели. Я смотрел на эти темные, сочащиеся трещинки между ребрами, ожидая, что потеки вот-вот исчезнут, но быстро устал от такого ожидания и куда-то отлучился. Может быть, привлекло меня квохтанье курицы, которая на радостях громко докладывала всему кури-

ному селу, что опять снеслась? Для меня ведь такое происшествие тоже было немаловажным. Я уже знал, что многие наши куры забираются нестись в норы, вырытые ими под горой сухих стволов подсолнуха, и наловчился, просовывая руку поглубже в тайники, извлекать то одно, то другое еще теплое яичко. Бабушка часто поощряла такую расторопность моей же находкой, в жареном или вареном виде.

Вот что!.. Все те бочки и бочонки тоже были, значит, из кладовки и даже из подпола, но я не видел, как их выносили и вносили назад, потому что, наверное, на ту пору спал.

А сегодня, хотя свет вечерний уже неумолимо сменяется сиреневыми сумерками, разве уснёшь! Я же чувствую по какой-то особой размеренности, даже торжественности дедушкиных движений, по его похмыкиваниям в нос: предстоит что-то по-настоящему важное. Ну как пропустить?

Приладив под бочку какие-то дощечки, чтоб она стояла ровно, не шатаясь, он спешит в ту же кладовку и, вижу, выносит, оперев на живот, обхватив снизу руками, какой-то тяжёлый деревянный короб с изогнутой металлической ручкой на боку.

– А ну, поможить... поставыты... прэсс! – прерывающимся голосом подзывает он бабушку и маму. Женщины мгновенно оказываются на подхвате, и вот уже короб, или, как он его только что назвал, «пресс», чуть не с грохотом нахлобучен сверху на бочку. Дед в задумчивости пятится, будто хочет со стороны оценить всё целиком сооружение. Пячусь

и я заодно, да как-то неловко и едва не усаживаюсь во что-то мягкое, теплое.

Корзины! Я же видел, как днем на подворье привозили тачками с нашего виноградника эти заполненные с горбом корзины. Когда их за ручки опускали на землю, корзины поскрипывали и побряхтывали, будто сами испытывали удовольствие: смотрите, люди добрые, вон сколько в нас уместилось гроздьев, большущих, спелых!

И дед Захар сказал, стоя над корзинами:

– А що?.. Добрый урожайся тарас!

Знаю, есть в хате нашей Тарас. Он висит на стене, над календарем: лысый, усатый, в кожухе нараспашку. И я замечал: дедушка иногда поглядывает на усатого дядьку и негромко, будто с укором, ему говорит: «Эх, думы мои, думы мои...»

А это что за Тарас?

– Виноград такой: тарас, – подсказывает бабушка. – У молдаван купылы лозу. То такой сорт. А е лидия, е изабэла.

Какая еще лидия, какая изабелла? Наш тарас лучше, – решаю я про себя. Это сколько же корзин! Выходит, мы будем его есть вместо хлеба, вместо всего остального, есть всю осень, и на всю зиму хватит... А что не съедим, то бабушка отнесёт на горище, и у нас будет много-много изюма.

Каждая круглая ягода покрыта сизой поволокой. Чуть её сотрёшь, а тарас-то вон какой – тёмно-синий, до черноты. Как ночь. И сладкий, почти горячий от солнца. Только умей отплевывать косточки, чтоб не хрустели на зубах. Можешь

съесть целую большую гроздь, разве кто попрекнет? И ты уже сыт. И уже без жадности любишь всеми-всеми, а им и счета нет. Прижмурься, и померещится: гроздь – это великое множество чьих-то очей, они тайно помаргивают про что-то свое, но не страшное. Или покажется: гроздья тараса – мужские кулаки, набрякшие упругой синей силой. Но есть в корзинах и маленькие кулачки, чуть больше моего...

Дед Захар светлеет рубахой в сумерках, закатывает рукава по локоть, окунает растопыренные пальцы в корзину, ту самую, в которую я чуть не угодил, вырывает из нее большой ком гроздьев, кидает в широко раскрытую и, как различаю теперь, зубастую пасть ящика-пресса. Что-то бормочет про себя, мелко крестится.

И, чуть накренясь вперед, медленно, натужно начинает вращать ручку... Из давилни вырываются всхлипы, хруст, чавк, треск лопающихся виноградных кистей. Затем что-то глухо ударяет о темное дно.

Из сумерек выплывают лица всех наших – бабушкино, мамино, тети Лизы, а между ними и радостное Тамаркино. От разных корзин наперегонки подносят гроздья к зеву давилни. А дедушка, расставив для упора ноги, всё крутит и крутит рукоять с той же натугой, и сок уже поет в бочке непрерывно, и шлепаются вниз комья раздробленных ягод.

– Тарррас... тарррас! – трещат и хрустят кисти в челюстях пресса.

А я что же? И мне дайте!

Держу тяжелую гроздь в вытянутой руке, привстаю на цыпочках, но до края ящика никак мне не дотянуться. Кто-то подхватывает меня сзади подмышки – бабушка? мама?

– Тильки руки не сунь туды – видгрызэ!

В чавкающую пасть полетело и мое приношение, но руку тут же отдергиваю от края раструба.

Опустошенные корзины катятся к кусту сирени, в темноту. Нечего им мешаться под ногами.

И мы с Тamarкой, чтоб не мешать взрослым, отходим к хате, прислоняемся к теплой стене. Слышим, как воробьи или ласточки шевелятся в своих гнездах под стрехой, уютно попискивают, приготавливаясь ко сну. Уже поздний вечер, в такую пору нас тоже всегда отправляют спать. Но сегодня слишком важное что-то происходит, и нам разрешено оставаться со всеми.

– Дид сам вси бочки зробыв, – негромко говорит Тamarка.

– Знаю...

– И обручи з железа сам склэпав, – добавляет она.

– Знаю, – шепчу я и краснею, потому что совсем не знаю, что такое обручи. А потому спешу первым сказать и про другие умения дедовы. – Вин сам и косоу косыть, и чоботы шье, и гвоздочки дэрэвянни вбывае, и... и лозу ножнычками стрижэ, бо вин у нас... майстер.

И тут же спрашиваю:

– А що там будэ – у бочци?

– Нэ знаеш? – смеется Тамарка. – Вино будэ. Выпьеш кружку и будэш пьяный-пьяный, дурный-дурный.

И она, с улыбкой закрыв глаза, что-то бормочет, покачивается и оседает на корточки, показывая, какой я буду дурной.

Мне такое кривляние не нравится, я про себя начинаю на нее сердиться. Но одумываюсь: сердиться – тоже дурость.

Загустевает вечер, наливается горьковатым настоем дыма, что слоится вдоль села. Большие золотые листья в задумчивости опускаются с ветвей грецкого ореха. Земля вдыхает их терпкую свежесть. Фиолетовая темень подступает к нам. Но стена хаты всё так же белеет, будто отдает ночи впитанный за день свет.

Нас подзывают. Идем, взявшись за руки, наощупь, чтоб не споткнуться о какую-нибудь корзину.

Пресс уже снят. Бочка доверху заполнена вкрадчивым шорохом. Что-то там большое, темное дышит. И вся внешняя мгла полнится загадочным шевелением.

Дедушка запускает за край бочки черпак, осторожно отгребает гущину в сторону, – и вот посудина перед нами: тяжелая, полная доверху.

Тамарка отказывается пить первой, хотя она старшая. Я тоже отказываюсь, но совсем неуверенно. Дедушка решает в мою пользу:

– Нэхай малый попье.

После трех больших глотков я передаю липкую теплую

кружку Тamarке. Потом она мне возвращает, и снова я ей.

Но блаженство насыщения этим еще невинным темным млеком земли так полно, так всевластно, что я, кажется, в тот же самый миг и засыпаю, прямо здесь, стоя на ногах.

День бесконечный

Светлая гибкая лента дороги, что из нашей сельской долины легко и вольно взлетает на зеленую гору... Я теперь уже знаю: она не обрывается сразу за краем земли. Она так же светло хочет пролиться куда-то дальше. Раным-рано за гору ушла пешком мама.

Я уже и позабыл почти тот хмурый сырой день, когда отвратительной мохнатой гусеницей уползало за край земли чужое войско. В тот день и гора была какой-то бурой, тоскливой, без единой травинки. И дорога – черной, связкой, в слякотных колёсных следах.

Нет же, дорога, которой я люблюсь сегодня, чиста и светла, будто никогда ничто мерзкое к ней не прикасалось. Эта дорога, сколько я себя помню, была всегда, и всегда мягко проплывало над нею солнце. И она всегда мне нравилась своим одиночеством. Но этим утром мне не просто нравится видеть ее гибкий взлет наверх, я неотрывно люблюсь ее светлой, как льняная холстина, лентой. Мама ушла по ней раным-рано, когда я еще спал. И теперь она вернется с горы, но уже не одна.

Так бабушка сказала, когда я вышел из хаты и подбежал к уличной печке, у которой она варила что-то вкусное, пахучее в двух больших чугунах. Впрочем, я тут же и забыл спросить, что такое она готовит, потому что она сказала про

маму и про ее путь до Чубовки, где она встретит моего отца.
– Сядь и дывись на дорогу.

Краткого повеления мне было достаточно, чтобы усесться за столик и, кажется, целый час неотрывно смотреть на дорогу, ожидая, когда на самой верхней кромке светлой ленты появятся *они*. И тогда я тотчас окликну бабушку и побегу в мастерскую предупредить деда Захара.

Но дорога оставалась безлюдной.

Я начал недоумевать. Что это за *Чубовка* такая, до которой должна дойти пешком мама? Почему она ушла одна, не взяв с собой и меня? Разве я не заберусь вместе с нею на гору? И разве и дальше не буду идти, не отставая, сколько бы ни понадобилось. А сидеть и ждать так долго на одном месте – разве легче?

И я не выдержал. Отступил с бабушкиных глаз за куст желтой акации и побежал в мастерскую. Надо у деда спросить, где эта самая *Чубовка*, долго ли идти до нее и назад.

Но в мастерской неуютно и пусто. Даже инструменты издают скучный запах, будто сразу начинают ржаветь без своего хозяина. Наверное, дед Захар с утра работает в колхозе.

Высунув голову из открытой двери на двор, я тотчас же цепляюсь глазами за дорогу. Она всё такая же светлая. И такая чистая, что хочется огладить ее взглядом. Но она по-прежнему пуста. Тогда я вскарабкиваюсь по нашей лестнице-драбыне на дощатый настил между чердаками хаты и коровника – мое привычное смотровое место, откуда дорога на

гору видна как на ладони.

До чего же здорово мне бывало сидеть здесь, свесив ноги с дощатого настила, высматривая, не бежит ли в нашу сторону Тамарка. У меня сердце всегда начинает стучать звонче, когда на тропинке из-за зеленых всходов конопли взмелькивает ее золотистая челка. Но сейчас и появление Тамарки меня бы не порадовало. Я жду иной, куда большей радости. Хорошо ей, Тамарке. Ее отец, дядя Ефим Кущенко, уже вернулся в свою хату с фронта. Его отпустили домой из-за раны, и он недавно своим глухим басом, будто извиняясь, говорил нам с мамой, что если бы не эта его круглая, величиной с яйцо, вмятина на макушке головы, то он бы тоже, как и мой отец, еще оставался на фронте.

Когда же он кончится, непонятный фронт, если войны, говорят, больше нет? Все вокруг так говорят: всё, ее больше нет. Прошлой осенью, когда она еще продолжалась, но уже где-то так далеко от нас, что ни единого грома снарядного уже не было слышно в Фёдоровке, бабушка водила меня на майдан, на площадь посреди села, и все мы, и я тоже, сушили там табак для фронта.

... Майдан встретил нас самым крепким, какой бывает к середине лета, солнцепеком. Всё как будто плавилось и слилось вокруг – крыша длинного колхозного правления, горячие лица женщин – молодых, пожилых, совсем девчонок. Столько вокруг было смеха, крика, гомона, пестрых светлых сорочек, что невольно хотелось прижмурить глаза. Лишь че-

рез минуту, другую начал я соображать, что же тут, на широченной площади затеяно.

Посредине майдана торчит крепко вкопанная в землю жердина, и от нее во все стороны, ну прямо как лучи от солнца, протянуты на высоте моей головы, а где и повыше, длинные-предлинные веревки, но не толще той, из которой дедушка Захар мастерил когда-то дратву. И на каждую веревку сушильщицам нужно длинными острыми шилами нанизывать один за одним большие табачные листы. Эти листы подносят в плетеных корзинах, только вынимай да протыкай шилом, да сдвигай к середине – к тому самому столбу, что торчит над всем этим хороводом.

Я быстро теряю из виду бабушку. Где теперь взмелькивает над пахучими табачными развесками ее светлый в синюю крапинку платок? То различил было, а то снова не могу найти и нашу тетю Лизу с ее золотыми серьгами в ушах. А Тамарка? И она должна быть где-то на площади.

– А цэ що за хлопчик такой ледащий? У всіх дило, а вин стоить и гавы ловыть? И нэ соромно тобі? – смеется надо мной молодая женщина с корзиной листьев при бедре. – Чий же ты будэш?

– Бабы Даши и дида Захара, – хмурюсь я. Что это она взялась меня срамить?

– А-а, так ты – сынок Тамары-учительки?.. Чуєте, дивчата, його батько на фронти, за нас за всіх нимця бье, а вин? Хиба ж ты нэ хочеш свому батькови послаты на фронт табачку?

– Да чоґ ты до нёго прыстала? – громко защищает меня другая молодая тетка, с крупно-белыми в улыбке зубами. – Станэ той Миша курыты якись тютюн. Вин, кажуть, вже офицэр и «Биломор» курыть.

– Дивчата, будэ в ам шуткув аты! Дайте хлопчику шило, нехай и вин працюе.

И мне уже откуда-то протягивают в правую руку шило, а левою без всякой подсказки достаю из ближайшей корзины большой чуть влажный лист табака. Что, разве и я не сумею? Тютюн – он и есть тютюн. Можно даже две лопушины разом проткнуть, и еще, и еще, по одному листу, по два. А дальше? Дальше уже кто-то из девчат помогает сдвигать целый пук моих листов ближе к жерди.

– Ой, Миша, валеґоцуловский той Миша! Якого ж хлопця наша Тамара до сэбэ прыгорнула, э-эх! – громко вздыхает еще одна молодица.

– А ты, раззява, чоґ ж нэ прыгорнула?.. – Чи рук в тэбе и титёк мало? – толкает ее локтем в бок соседка.

– Да титёк в мэнэ повна пазуха... Але руки вид того табака дужэ чорни.

И все снова смеются.

А я так увлекаюсь нанизыванием табачных листов, что не замечаю, как подходит бабушка Даша. Она, вижу, сердита на девчат из-за таких шуток. Но при этом явно довольна моей первой работой в колхозе...

– Ось куды вин заховався, – вдруг окликает она меня сни-

зу. Я вздрагиваю от неожиданности. Она стоит под лестницей и держит в руке что-то белое.

– А ну, злазь да одинь чисту рубашку и новеньки штанци.

Неужели она первая увидела, что идут? И потому мне нужно срочно переодеться? Я лихорадочно озираюсь на гору. Нет же! Гора до того безлюдна, что ни единого следочка не различить. Но всё-таки повеление бабушки меня как-то встряхивает. Я быстро спускаюсь по жердинкам вниз.

Пока она помогает мне переодеться в свежую прохладную одежду, самое подходящее время, чтобы хоть что-то еще расспросить про эту непонятную мне Чубовку. Долго ли нужно маме идти до нее?.. И почему не пойти было в Мардаровку? Ведь мы с ней недавно уже ходили туда пешком и шли долго-долго, чуть не полдня, чтобы маме немного прибраться в пустой хате, где жила покойная бабушка Таня.

Помню, в Мардаровке, в тот же самый день мама повела меня в хатку к какой-то почти слепой старухе. В комнате ее было так темно, что среди бела дня мы должны были сидеть за столом при свече, и эта странная бабка что-то бормотала маме, а мама, как мне показалось, то и дело порывалась заплакать от страха. В трясущихся костлявых руках старухи мелькали картинки с черными крестиками и какими-то черными редьками, с красными кубиками и сердечками, с головами красивых бородатых стариков, молодых бравых усачей и необыкновенно красивых глазастых женщин. Иные из картинок она как-то из-под ладони выщелкивала на стол –

поверх тех, что уже лежали тут, – и что-то при этом шипела беззубым ртом. Под конец она собрала все картинки вместе и сказала маме: «Нэ бийсь... Возвернется твоя пропажа... Моя карта правду кажэ...» Мама глубоко вздохнула и, когда мы, наконец, встали, чтобы уходить, положила бабке что-то в руку. Когда же вышли на двор, тотчас сказала мне взволнованным шепотом: «Тильки никому-никому не кажи, дэ ты був и що бачив... Чуешь? Никому». И я с тех пор, как вернулся в Фёдоровку, никому не сказал и не говорю ни слова – ни бабушке Даше, ни Тамарке...

– Мардаровка, – сообщаю я бабушке, – тоже станция. Там тоже поезд. Так чому ж мама в Чубовку пишла?

Но бабушка Даша продолжает придирчиво оглядывать меня со всех сторон, будто проверяя, впору ли пришлись мне обновки – рубашка и штанцы. И при этом строго молчит. Лишь напоследок отвечает что-то невнятное. Сама она, оказывается, никогда в эту Чубовку не ходила. Она знает лишь, что в Чубовке остановится поезд, которым прибудет мой отец, а через Мардаровку он проедет без остановки. А когда прибудет в Чубовку тот поезд, – утром, днем или вечером, – кто ж его знает?

Я вздыхаю. Значит, надо нам еще ждать.

Но сидеть всё время на солнце возле кутуни или на моей смотровой площадке и смотреть неотрывно на спуск с горы мне уже невмочь. У меня начинает звенеть в ушах, я слоняюсь без толку по двору, захожу в хату, разглядываю мамин

учительский столик. На нем теперь не видно стопки тетрадок, потому что летом, а у нас первый месяц лета, дети не учатся. Одна чернильница скушает.

Мама уже не раз показывала мне фотографии и конверты с письмами, пришедшими с фронта. Одна фотография, на которой прямо на нас смотрит мой отец в кителе с погонами, а на погонах четыре звездочки, а на груди две медали, – и маме, и мне сразу особенно понравилась. И она не раз уже читала мне слова, написанные на белой оборотной стороне:

На память моим

Тамаре и Юрику.

Мих. Лоциц

Январь 1944 г.

Снимок декабря 1943 г.

– Декабрь... Январь... – шептала мама имена месяцев и вздыхала. – Тоди у нас ще стоялы румуны и нимци. А батько твий пыше: «жди»...

И читала еще две строки, написанные на той же стороне, на самом верху:

Жди меня, и я вернусь –

Только очень жди...

Я так и решил про эти слова, что отец очень и очень просит нас ждать его. Хотя он, когда пишет свое письмо, еще не знает о нас ничего, но обещает вернуться, лишь бы и мы

крепко ждали.

Мама не оставила ту фотографию и письмо на столике, а куда-то спрятала, как и другие, которые пришли после того письма, самого изо всех первого.

Правда, боюсь я ошибиться: а было ли то письмо все же самым первым? Ведь в рукодельной матерчатой сумочке, в которую она складывает письма, есть и еще одно – его у нас в хате, кажется, и стены наизусть знают. Потому что отец в нем обращается не только к маме и ко мне, но и ко всем-всем нам. И сколько раз уже собирались в вечернюю пору, после дел по хозяйству, и просили маму почитать его вслух... И тетя Лиза с Тamarкой приходили, и тетя Галя тут же была, и кто-то из двоюродных теток, сестер. И мама, конечно, не отказывалась читать, но предупреждала, чтоб никто не плакал:

«Дорогие Тамара и Юра, – начинала она намеренно строгим учительским голосом, – Захарий Иванович, Дарья Яковлевна, Галя и все, все родные и близкие!

В ночь с 31-го марта на 1-е апреля 1944 года в 23 часа 45 минут радио принесло мне долгожданную радостную весть. Я узнал об освобождении от немецких захватчиков города Котовск, города Ананьев и станции Чубовка. Мне кажется, что Вы, наконец, увидели солнце после многих месяцев беспросветной тьмы. Какая радость! Я предчувствовал близость Вашего избавления и сегодня ночью не отходил от радиоприемника. Меня поздравляли мои боевые друзья, жали мне руку. Им понятны моя радость и мое

волнение, ибо они видели, слышали, чувствовали, как в течение многих дней и ночей я думал о Вас, говорил о Вас, страдал по Вас».

Но тут кто-то в комнате начинал громко вздыхать, что-то шептать или пошмыгивать носом. Мама останавливалась и оглядывала всех с укоризной.

«На дворе – весна. Для нас с Вами это вдвойне весна. И небо, и цветы, и воздух, и солнце покажутся нам приятнее и милее».

– Всэ так и е, слава Богу! – шептал кто-то.

«Правда, я не знаю – все ли Вы живы и здоровы, помните ли Вы обо мне, сохранили ли Вы ко мне прежние чувства, бывающую привязанность и теплоту, разбираете ли мой почерк?»

Мама снова останавливается, чтобы что-то свое добавить к словам письма:

– Отличный у тебя почерк, Миша! Каждому бы такой почерк... И такую отличную речь. Всем ведь всё ясно?.. А какое правописание! Ни одной ошибки... Ни одной помилки!

Может быть, Вы давно молитесь за упокой души моей, может быть, я лишний для Вас? Поверьте, что после такой разлуки много могло убежать воды».

– О, нэ дай Боже!.. – снова кто-то вслух шептал. – Господи, збэрэжи його...

«О себе скажу одно: я всегда помнил о Вас и я

остался тем, каким Вы меня знали. Может быть, я состарился, осунулся, возмужал, но память о своей семье всегда, в самые трудные дни была для меня святыней.

Тамара! Чувствовала ли ты биение пульса моей жизни в жуткие дни оккупации? Да, ты должна была чувствовать это. Через громаду лесов, через линию фронта я не раз простирал к тебе свои руки, я хотел, чтобы ты чувствовала мою жизнь, мою память о тебе», – тут и мамин голос начинал подрагивать, будто она поперхнулась каплей воды.

«Мы все чувствовали себя виновниками перед Вами, и мы рвались к Вам. И вот мы пришли. Но мы еще не дошли до цели. Наша цель – полная победа. И мы ее отпразднуем скоро – где-нибудь в ... Германии. Мы отомстим сполна за наши утраченные молодые годы, за разлуку, за слезы.

Юра! Слышишь ли ты голос твоего отца? Помнишь ли ты его хоть сколько-нибудь, носишь ли ты его в груди своей?

Это – третье письмо, которое я пишу Вам. Два письма я написал уже давно – авансом.

Пишите, дорогие, быстрее пишите. Мой адрес:

Полевая Почта 67656-П – мне.

Обнимаю и поздравляю всех Вас.

1.4. 44

Ваш Мих. Лоциц

Я опять вздыхаю. Надо ждать. Надо идти на наше подво-

рье и глядеть без устали, пока глаза не начнут болеть, на светлую дорогу посреди зеленой горы.

Бабушка предлагает мне поесть там же, за столом возле кутуни, – еще горячих румяных оладушек с кислым молоком, только из погреба. Но я отказываюсь. Ничего мне теперь не хочется в рот брать, – ни этих душистых оладушек, ни белого, присыпанного сахарным песком молочного киселя, разлитого по большим плоским тарелкам, которые тоже отлеживаются в погребе, ни пригоршни только что поспевшей золотисто-розовой черешни.

Даже дорога и гора выглядят совсем не так, как утром. Они тоже устали от ожидания. Вдоль горы, как раз напротив нашей хаты, проступили морщины от коровьих и овечьих троп, по которым череда, как и всегда, возвращается вечером в село. Коров еще не видно, но морщины уже напрыглись, и тень от какого-то бугра ложится поперек ленты безлюдного проселка.

Тогда я пробую для себя только что придуманную игру. Надо отвернуться от горы, сесть к ней спиной и смотреть на что угодно: на темную листву вишен, в тени которых наливаются красным соком ягоды; на слоистый прозрачный жар из печной трубы, на бурую копну прошлогодних стволов подсолнечника, которыми бабушка топит печь;

на цветы желтой акации... Даже пчелы и шмели устали копошиться в них... Но если я просижу так долго-долго, а потом резко оглянусь, то в тот же миг и увижу. И прокричу:

иду-у-ут!

Так громко закричу, что даже Тамарка расслышит на своем дворе и тут же прибежит порадоваться вместе с нами.

И я враз оглядываюсь...

Ни-ко-го!

Сердце опускается во мне куда-то в пустоту.

Но нет, надо еще раз отвернуться.

И еще – пока не посетит догадка: те, кого ждешь-неждешься, ни за что не придут, если ты такой нетерпеливый. Вот если бы ты отвернулся и насовсем забылся и занялся чем-то совсем-совсем другим, тогда... Но что-то не получается у меня совсем перестать ждать, и я забрасываю неудавшуюся игру.

Вот, наконец, и дедушка воротился из села. Может, какие-то новости разузнал – про ту же Чубовку, про тот поезд? Ведь он когда-то в молодости, еще до женитьбы, как сам об этом рассказывал, год или два служил на железной дороге, ходил по вагонам, проверял, у всех ли есть билеты. Но сейчас даже в его покашливании и пыхтении в усы мне слышатся какое-то огорчение, какая-то усталость.

– Попый водычки, – предлагает мне бабушка Даша. Она пришла от колодца с двумя полными ведрами и рассказывает дедушке: – Цилый дэнь сыдыть на сонци... Запалывся.

Но оттого, что они жалеют меня, совсем не становится легче. Наоборот, мне так хочется разреветься. Мне чудится, что на гору, на всё село вместе с вечерними тенями опус-

кается какая-то беда. Ну, зачем мама моя раным-рано ушла непонятно куда? Может, тот поезд не остановился? А если остановился, то никто из него не вышел, ни один человек не спустился по ступенькам... Они не придут... И она где-то там сидит за откосом железной дороги, и прикатывают в черном дыму и копоти чужие, как в Мардаровке я видел, поезда, на миг останавливаются или с грохотом проносятся мимо, и у нее нет больше сил ждать и нет сил идти к нам сюда одной.

Не хочу я никакой воды. Слезы душат меня. Мне хочется запрятаться куда-то со своим невыносимым горем. Я плетусь в хату, наощупь добредаю в полутьме до кровати в маленькой комнате. У меня нет даже сил, чтобы снять с себя новые рубашку и штанцы. Разве мне самому они нужны?.. Мама, зачем ты ушла сегодня раным-рано? Зачем мы понапрасну ждали так долго?.. Бабушка, дедушка, зачем всё было?..

– Чуешь?.. Вставай... – Это бабушка Даша тормозит меня за плечо. – Воны йдут... Чуешь?.. твои батько и маты йдут...

Я вскакиваю, несусь на слабый свет сумерек – в раскрытую настежь дверь.

Кто-то совсем близко. Чьи-то тихие шаги по земле. Медленно, будто во сне, выплывают двое из теплой мглы, поднимаются по тропе мимо куста сирени. Мама в светящемся платье, и ее поддерживает под локоть он – в военном, без фуражки. Лечу, ног не слыша, с разгону прыгаю ему на грудь. Прижимаюсь к щеке, скуле, уху, горячему рту. Почему-то я

вмиг догадался: это он, только таким и может быть мой отец!

Его лучащиеся лаской глаза, тонко выбритые щеки, распахнутая для объятия грудь, твердые пуговицы кителя, светящиеся темным золотом погоны, чудесный запах, исходящий от их тончайших волокон, – всё это он, мой единственный на весь свет, мой родной, с крепко бьющимся сердцем, в прекрасной плоти воина.

Но почти тут же его оттесняют от меня, потому что ото всюду на свет лампы, вынесенной из хаты, уже сходится, сбегается из тьмы вся-вся наша родня, чуть не целое село... Смеются, плачут, накрепко стискивают в объятиях, поздравляют маму... И дядя Ефим тут с тетей Лизой, и Тамарка моя лучезарная, и дедушкин брат Виктор, его жена Дуся, братья и сестры Дзюбенки, соседи, соседки, куча мала детворы...

Лишь на какой-то миг отец прорывается ко мне, чтобы еще погладить по голове, подержать за плечи, на руки поднять и тут же, будто спохватившись, вытащить из походного чемоданчика и вручить подарки: большущую плоскую коробку конфет и губную гармошку в восхитительно ярком футлярчике.

Тотчас меня облепляет затаившая дыхание малышня. Кто-то зачарованно шепчет:

- Ты дывысь, конфеты...
- Ого, шоколат...
- А яка гармошка!..
- Трофейна?..

Мы разглядываем и общупываем коробку, принимаемся к ее небывалому запаху. Но долго разве можно удержаться? И вот, пока взрослые рассаживаются за столы, гремят посудой, звенят стаканами, у нас свое затевается пиршество. Под общее восхищенное «ох-х!» распахнута коробка, и из внутренностей ее посверкивающего в ночи ребрастого лова на нас изливаются волны головокружительно сладостных ароматов. Обмерев от неожиданности, мы робко замолкаем. Никто не решается первым притронуться к темным округлым подушечкам шоколадных див. Так проходит несколько томящих мгновений. Но раз уж все принимаются шепотом подбадривать меня, протягиваю руку первым. Каждому понятно: это мое право. Но незримая сила чья-то сила ведет моими пальцами, и первую конфетину я поднимаю к полуоткрытому рту Тamarки.

– Ни-ни, – улыбается она благодарно, отмахиваясь от меня челкой.

– Йишь! – настаиваю я твердо, как и положено, должно быть, сыну офицера. – И все – йишьтэ!

Фёдоровская детвора не кидается к коробке, распихивая тех, кто неловок или слишком застенчив. Наша малышня самым бережным, самым сдержанным способом приступает к облизыванию, пробованию на зубок и неспешному вкушению яства, принесенного приятнейшим ветерком то ли из какой-то загадочной Риги, то ли из какого-то Таллина, который и сам, кажется, не прочь бы растаять у нас на губах. И,

удивительное дело, шоколадок в коробке почти не убыло.

Тут, напоминая разомлевшему обществу о втором отцовом подарке, я достаю из-за пазухи чудесный футлярчик. Гармошечка в руке на вес тяжеленькая, но при этом какая-то забавно-воздушная.

– А кто вмие?

Умелец находится мгновенно. Кажется, это один из хлопчиков, в сопровождении которых я весной бегал смотреть за край села порожнюю фашистскую самоходку. Он прикладывает губы к узкой, слегка загнутой вовнутрь стороне инструмента и делает слабый вдох. Гармошечка прытко скользит в его руке вправо-влево и рассыпает легенькие рулады, похожие на первые пробы спевок у петушков.

Вдруг из раскрытых окон хаты выкатывается дружный взрыв смеха. Мы догадываемся, что он явно вызван стараниями нашего гармониста, и тотчас отвечаем большому застолью самым звонким детским визгом.

– На, грай сам!

И вот уже я дую изо всех сил, и звуки то вниз тянут, то вспрыгивают на тонюсенький верх, озадачивая, должно быть целый мириад наших невидимых сверчков, зачарованно и неустанно поющих свои скромные гимны звездам.

Ночь отлетает так стремительно, будто и не было ее, а длится над всеми нами один бесконечный день, и мы с Тармаркой в его молодых лучах блаженствуем в маленькой моей комнате у порожней, но всё равно чарующе ароматной кон-

фетной коробки и всё еще по очереди пробуем губами гармошечку. На ней успели подудеть все, кто хотел, и потому из ее отсыревшего от слюны нутра вместо бойких звучаний с трудом вырываются теперь какие-то простуженные хрипы, побулькивания, а то гусиный шип или самый жалобный цыплячий всписк.

– От, добрэ гралы, – благодушно пыхает в усы дедушка Захар.

Нас зовут за стол, и он такой обильный, будто здесь ничего еще с минуты возвращения отца не вкушали. Все готовы поднять стаканы, рюмки. Лишь отец, веселый, в белой рубахе, вдруг скашивает глаза в мою сторону и неожиданно строгим голосом спрашивает:

– А это что такое?

Острым глазом он видит, что передо мной на столе краснеет маленькая стопочка, наполовину наполненная кисленьким терпким вином дедушкиного изготовления.

Бабушка, уловив смысл его удивления, улыбается:

– Та воно ж малэньке... Нэхай и воно трошечки выпье...

Батько ж вэрнувся з вийны.

– Нет! – произносит отец решительно. – Еще рано.

И все примолкают на миг. Никто не возражает. Не потому, что он их раздосадовал. А потому, что всем становится ясно: раз отец вернулся, теперь его власть, и потому пусть теперь для сынка его воля родительская будет путеводной.

Я не дуюсь, не ропщу. Подумаешь, вино! Я еще и не разли-

чаю его вкуса. По мне оно несколько не вкусней, чем глоток свекольного темно-красного кваса, который бабушка подносила нам с дедом из погреба, когда он отламывал от сухих высоких стволов початки спелой кукурузы, а я складывал их в корзину. И сладкий виноградный сок прямо из бочки, в которую он осенью отдавливал гроздья «Тараса», куда, по мне, вкусней, чем это кисленькое, что так и останется мною не тронутым.

Лишь много лет позже я буду в шутку рассказывать друзьям, что первый раз в жизни бросил пить вино шести с половиной лет от роду. И на недоуменные вопросы отвечать: «Потому что такова была воля пришедшего с войны отца».

Но вот еще одно событие того бесконечного дня, самое для меня и по сию пору столь необыкновенное, что иногда кажется: не привиделось ли?..

Через три или четыре часа после утреннего застолья... Все мы вдруг, будто по воздуху перенесаясь, оказываемся в нашей дубовой роще. Но не на ее ближнем к селу краю, где я как-то под вечер помогал бабушке Даше собирать желуди в торбу. Нет, мы где-то в самой середине великого леса, на раздольной поляне, у белых холстов с едой и вином. Только никто не приляжет, никто не садится на траву у этих белоснежных холстин. Все стоят большим, но не тесным кругом. И все в белом, чистом, легком – мужчины, женщины, мы – дети. Мы как будто собрались на место, где всегда собираться любили и раньше. И потому разведен костер из сухого ду-

бового хвороста, он не чадит, а лишь чуть потрескивает, и дым его благоуханен, и пепел светел, хоть окунай в него руку. Или это благоухание исходит от высоких дубовых крон, пропускающих на поляну полупрозрачный свет? Мы будто все вернулись сюда, – после холода и голода, после страхов и грохота обезумевшего железа. Вернулись посмотреть друг на друга, произнести негромкие добрые слова, поднимая перед собой белые струящиеся, как дымы, рукава рубашек и сорочек...

От прилива радости я почти уже не различаю лиц: где отец с мамой, где дед Захар и бабушка Даша, где тети мои Лиза и Галя, где ты, светлая Тамарка? Мне видится, что в этом же кругу, рядом со всеми – и те, кто не дожил до этого дня, – и бабушка Таня, тоже во всем светлом, и дед Фёдор в светлой армейской рубахе, и прадеды мои Константин Лощиц и Максим Степанюк, Иван Грабовенко и Яков Лагуна, – тоже в белых рубахах. Просто мы все вернулись в день возвращения, – пусть не навсегда, пусть только на час – в этот святой лес...

Конопля

Вид Києва до Лубэн

Засіялы конопэль

Из народной песни Иногда, ожидая часа, когда Тамарка прибежит на наше подворье, я прошу у бабушки позволения самостоятельно забраться по драбыне на помост. Сверху хорошо видна тропа, бегущая наискось от нашей усадьбы в долину, и там, за нижней сельской дорогой, у подножия горы, что зеленеет напротив нас, выглядывают из-под высоких деревьев окна тети Лизиной хаты. Сам я, без взрослых в гости к Кущенкам не хожу. Наверное, бабушка с мамой опасаются, что это для меня пока далеко, могу заблудиться, или испугаюсь чужой собаки, или начну пробовать на вкус какую-нибудь отравную «куриную слепоту».

Сидя или стоя на помосте, я высматриваю, не мелькнет ли вдали светлое платьице Тамарки. На наш взгорок она обычно не идет, а несется, и золотистая челка ее вспухает под ветром. Если Тамарки долго не видно, то в нетерпении я спускаюсь с помоста и сам иду встречать ее вниз до условленного места. Там, по правую руку от тропы, желтеет приусадебное поле нашей пшеницы, а по левую высится зеленый клин конопли.

Значит, всё мое первоначальное жизненное пространство располагалось, как теперь догадываюсь, в пределах видимости старших, то есть в прямоугольнике дедушкиной усадьбы. Ну, можно бы сюда прибавить и наш виноградный надел на холме за дорогой, но ведь сам я туда тоже еще ни разу не ходил.

Это значит, что при всех ограничениях я свободен навещать без особого спросу не такие уж и малые уголья. Запросто можно от крыльца хаты дойти-добежать до нашей белой кутуни – летней печи. За столом возле кутуни в теплую пору года чаще всего семья завтракает и ужинает (обедают всегда в хате, там и в жару прохладно).

Пространство возле кутуни меня притягивает еще и большими кустами желтой акации. В ее обильных золотистых соцветиях весной деловито копошатся шмели, со своими желтыми поясками вокруг черных туловищ, и я, нисколько не мешая им, потчуюсь маленькими душистыми лепестками.

За северной стеной хаты, заслоняя ее от дороги, тоже стоят акации. Но это не кусты, а большие деревья, и цветут они не желтыми цветками, а белыми продолговатыми гроздьями. Жуй, пожалуйста, и эти на здоровье, если дотянешься.

За кутуней, до угла соседней усадьбы растут несколько вишен, уже старых. На второй, на третий день после дождя в трещинах на стволах и между большими ветками вишен вдруг проступают наплывы какой-то смолы темно-медового цвета. Эти свежие наплывы легко отколупываются, и души-

стый вишневый клей так приятно жевать, а потом и проглатывать. Увидев меня как-то за таким занятием, бабушка с тихой своей ухмылкой покачала головой и посоветовала не обедаться:

– А то будэ заворот кишók.

Я уже знал, что у меня в животе находятся кишки, как есть они в животе курицы, когда ей острым ножиком распарывают пузо. И потому после слов бабушки, подумал, что при этом самом завороте мои кишки как-то там у меня завернутся и склеятся, потому что вишневая смола их склеит, и я не смогу больше ни есть, ни пить. И что дальше? И помру? Но смерть свою вообразить я никак не умел. Я же не какой-то там петух, которого захотели сварить на большой праздничный обед.

И вот, после еще одного дождя, я снова подкрался к старым вишням и рассмотрел уже знакомые места добычи. Расщелины между стволами были в таких свежих соблазнительно-слезящихся потеках, будто подтрунивали по поводу моей нерешительности: ну, что ты?.. бабушка же не сказала: не ешь вовсе... немножко-то можно.

За вишнями, под углом к ним, шагают на спуск к югу сливовые деревья. Плоды на них поспевают позже, чем у вишен, ближе к осени, а неспелую зеленую сливу и надкусывать-то не захочешь. Она так кисла и тверда, что даже курица, разглядев недоросток, валяющийся в траве, не станет его надклевывать.

На сливах клея не водилось, зато однажды, когда на ветвях уже не углядеть было ни одной спелой сливины, в траве у корней деревьев я обнаружил какие-то серые пружинистые лопушки. Они росли в тесноте и, похоже, упирались друг в дружку и еще поднатуживались, надеясь занять более важные места. Я надавил на один лопушок, и он с мягким треском отломился от остальных. Что было духу, побежал я к бабушке, чтобы удивить и ее необычной находкой.

Она приняхалась к лопушку, лизнула его языком, даже надкусила и пожевала губами, но сплюнула:

– Грибы... Опьятки... Сырыми их нэ йиж. Трэба их зварыты.

Опьятки?.. Слово было мне незнакомо, но по тому, что бабушка, отложив свои занятия на грядках и вооружившись ножичком, тут же пошла со мной к сливам, я понял: она не просто довольна моими разысканиями, но и сама хочет в них участвовать. Срезанные под корень лопушки она выкладывала себе на передник. Я же занялся охотой под соседними деревьями и обнаружил еще несколько выводков этих серых хитрецов, которые очень даже старались укрыться под опавшими листьями и стеблями выцветшей травы, – да не тут-то было!

Вечером за ужином немало говорилось вслух о моей удаче, а чтобы я не слишком заносился, мама сказала, что и она в своем детстве вместе с сестрами Лизой и Галей не раз приносила из-под тех слив полные корзинки таких же опяток.

Все эти съедобные или несъедобные подробности я привожу здесь вовсе не для того, чтобы вызвать сострадание к «босоному и голодному детству» своего поколения. Просто тем, кто рождается и всю жизнь живет в громадных городах, думаю, не лишне напоминать о том, что в тысячелетия *эпических времен*, то есть до появления громадных городов, у человека, в том числе у маленького человека, был свой особый неписаный канон общения с растительным миром, свои обширные, непрестанно передаваемые из уст в уста навыки поведения, основанные на самых простых и ясных правилах: «хорошо – плохо», «вкусно – невкусно, вредно», «целебно – ядовито»... Теперь этот канон основательно забыт. Но, к счастью, он легко возобновляем, способен наполняться, хотя бы по частям, прежним содержанием. Для этого человеку нужно лишь одно-единственное: восстановление его естественной, то есть природной среды существования.

... Почти сразу за нашими пограничными сливами и начинался клин, занятый коноплей. Когда в конце лета я подходил сюда по тропе, зеленые твердые стебли дружным своим ростом уже превышали все другие растения огорода – не только пшеницу, но и шапки подсолнухов, и метелки кукурузы. Не потому ли бабушка и не велела мне ходить по тропе дальше? За густыми зарослями конопляника она бы сразу потеряла меня из вида.

Всё живое, как изо дня в день замечал я бессловесным чутьем, издает какой-то свой, ни на что больше не похожий дух

или запах. И как же их много на белом свете, этих духов-запахов! У каждого цветка, у всякого плода на грядках, у любого стебля и любой ягоды, у самой малой былинки не только свой привкус, но и свое дуновение, даже если я еще не знаю по имени то, от чего оно исходит. Почему так радостно вдыхать один запах, затем другой, десятый... а отчего бы и не тысячный? Почему-то каждый из них не хочет смешиваться с остальными, вдруг нечаянно появляется, и тогда ты различишь его и остановишься. Но стоит тебе отвлечься на что-то еще, он почти тут же исчезнет, безропотно уступит место какому-то иному.

Но, кажется, завяжи мне глаза, я мог бы сразу угадать: а ну, расступись, все запахи, потому что... Потому что это дышит наша конопля, и чем ближе вечер, тем ее дыхание чище, острее, сильнее, и вот-вот в будоражащем шелесте ее пахучих стеблей я различу радостное топотание ступней моей бегущей к нам и легко дышащей сестренки.

Когда это было?.. Не вычислю года, но догадываюсь, осенью. Мы с дедушкой, бабушкой и мамой под вечер спускаемся на телеге в долину за край села. Остановились над зарослями камыша. Дедушка раздвигает его высокие усохшие стебли руками, закатывает штанины выше колен и сходит – к ручью ли? К большой ли луже, в которую превратился за лето ручей? Что-то нашаривает, общупывает руками. Вода вдруг со всхлипом отпускает наверх непривычного вида темно-бурый сноп. С каждым шагом дедушки в нашу сторону

сноп этот вытягивается, вытягивается.

На мое всегдашнее недоуменное «А цэ що такэ?» слышу короткий ответ: *конопель*. Мне даже противно слышать такое. Неужели наша пахучая зеленая конопля превратилась в эти склизкие, воняющие болотиной пучки?

Но дедушка, надсадно дыша, поднимает наверх сноп за снопом. Женщины тоже взмокли, укладывают тяжелый мокрый груз вдоль тележного дна.

Да не может быть, чтобы эти длинные зловонные комья грязи – всё, что осталось от нашего темно-зеленого пахучего клина? После пребывания в мутном ручье конопля выглядит такой жалкой, просто безобразной! И при этом еще издает непереносимо тяжелый дух гниения. Или пережитого наказания?..

Но сейчас, взглядываясь в тот поразивший воображение вечер, я обнаруживаю: моя детская жалость совершенно вытеснилась другой, гораздо более сильной, нынешней жалостью. Как же так? Почему не сбереглось в памяти ни единой отметины для совершенно нового существования, которое начинали в тот самый день истекающие затхлою жижей снопы? Ведь расписана же была для них, как по складам, жизнь новая, поистине былинная, – та самая, что неизменно возобновлялась на крестьянских подворьях моей земли из года в год, из тысячелетия в тысячелетие.

Не преувеличиваю ли насчет тысячелетий?..

Нет. Мой, увы, уже покойный наставник и друг академик

Олег Николаевич Трубачев в одной из своих последних итоговых книг, касаясь происхождения славянства на материале древнейших названий вещей, предметов, природных событий, окружавших человека в его извечной повседневности, целую главу посвящает и ей, конопле. Как, откуда в какие эпохи, в какие, как я их для себя называю, *эпические времена*, имя конопли, похожее в звучании у разных народов Европы и Азии, стало неизменной частью людской пракультуры? Почему коноплю захотел заметить еще зоркий-презоркий Геродот, упомянувший ее в своей «Истории» скифов-земледельцев? Почему конопля входила в повседневный словарь еще индоариев? Почему укоренилась в срединном Подунавье, в центре Европы, которое Трубачев считал исконным местом оседлого пребывания славянства? Потому ли, что семена конопли там и сям еще в древности использовали для изготовления вин, банных омовений или разной дурноты? Нет, конопля в первую очередь пригождалась человеку для изготовления пряжи, а из нее *поскоши* (тоже древнейшее слово), для домотканых одежд – от прочных рубах, до рабочих штанов, мешковин...

Вот и приходится в рассказе о конопле, вынужденно кратком, прибегнуть напоследок к сухой этнографической скороговорке.

Выдернутые из почвы своего клина зрелые стебли обколачивают цепями, увязывают в снопы, подвергают длительной вымочке в речках, озерах, прудах (это единственное, что

я краем глаза всё же рассмотрел); но затем снова привозят к жилью, высушивают досуха, мнут на деревянных мялках, треплют особыми деревянными же трепалами, чтобы стряхнуть с высохших волокон остатки коры, то бишь *костру*, всякий мелкий сор. Как девичью косу, дочиста расчесывают сухие волокна прочными деревянными гребнями, получая, наконец, пушистые легкие комья – *кудель*. А уж как из кудели с помощью прялок и веретен прядут нити для последующего ткачества, об этом теперь искусный экскурсовод допоеет вам заученную до последнего словца былинно-старину, наверное, в каждом втором краеведческом музее.

Мама моя, которая самое лоно сельской жизни знала с пелен, в пожилые свои годы не раз и не два вспоминала, что бабушка Дарья не только прядла из кудели конопляную нить, но и сама ткала из нее *посконь* для шитья рубах. Догадываюсь, ее ткачество относилось не только ко времени маминого детства, чтобы разом и навсегда прекратиться с приходом мануфактурного ткачества. Жаль, что я где-нибудь в закутах фёдоровской хаты (или горища, или дедовой мастерской) не рассмотрел, как следует, этих странного облика деревянных мялок, трепал и гребней и в недоумении не озадачил старших своим привычным «а що цэ такэ?»

У меня осталась в запасе лишь одна-единственная путеводная ниточка к тому домашнему ремеслу бабушки Даши. Мы с ней стоим в хате у окна, и она, повздыхав-повздыхав, наконец, просит, чтобы я помог ей провести кончик какой-то

очень толстой нитки в очень крупное игольное ушко, а то ее уже подводят глаза или пальцы дрожат: всё промахивается и промахивается...

Первая притча

Се, изыде сеяй да сеет...

Мф. 13, 4 И зачем тебя посреди сна тормозат, что-то невнятное бормочут, заставляют просовывать непослушные руки в рукава, ноги в штанины, обувают, нахлобучивают шапку на голову, выводят из хаты на холод, в ночь?.. Зачем?

Лишь учуяв под собой знакомый шорох соломенного настила, а сверху теплую тяжесть овчины, расслышав первые мягкие толчки колес, ты смиряешься, зеваешь...

Значит, так почему-то нужно. Ведь это не чужие тебе руки будили, одевали, собрали куда-то. Разве кто из них захочет тебе худого?..

Но вот телега останавливается. Если бы она катила и дальше, так бы себе и спал, спал. Но она почему-то стоит.

Высунув голову из-под воротника дедова тулупа, различаю низкое, серое, лохматое небо. Его так много, куда ни поведи глазами, будто кроме него ничего и нет вокруг, – ни солнца, ни деревьев, ни зеленой горы, что всегда-всегда стоит напротив нашей хаты. И оно такое чужое, заспанное, прижатое, это небо. Или ему неприятно, что его кто-то застал в таком дряхлом виде?

Слышу откуда-то сбоку кашель деда Захара, но его не вид-

но рядом. Тележная скамья, на какой он обычно сидит и правит вожжами, пуста.

Куда это мы попали? Приподнимаюсь со своей лежанки и различаю: под небом темнеет безлюдное, распаханное, уходящее куда-то во все стороны поле. Мне нетрудно догадаться, что это именно поле и что оно вспахано. Ведь поле есть и у нас в селе, прямо перед дедушкиной хатой. Но, как теперь понимаю, то поле, что осталось в селе, его и смешно полем назвать, настолько оно мало.

А это? Да оно будто всю землю собралось занять, нигде никакого края ему не видно. И сразу, лишь только начал я его разглядывать, оно, как и небо, показалось каким-то надуленным. Оно тоже будто недовольно тем, что мы тут стали и не даем ему спать, сколько хочет.

Заметив, что я открыл глаза и озираюсь, дедушка произносит:

– Баба Даша с заранья у том... у колгоспи робэ, ну а ты тут у поли побудь. – И, кашлянув, добавляет. – Подывышься, як люды жито сиють.

– А ты, диду, сам дэ будеш? – хмурюсь я. Что, если и он, как бабушка, тоже куда-то может исчезнуть?

– Як люды, так и я. Розумиешь?

– Угу, – бурчу я, хотя ничего еще не уразумел. Где он, тот колгосп и кто он такой, чтобы бабушка работала у него, а не окликала меня по утрам дома, увидев, что я уже проснулся?

Знаю-знаю: у нас и на маленьком поле перед хатой всегда

что-нибудь вырастает – то жито, то пшеница. Но как люди сеют? Как это они сеют то, что потом вырастает? Этого я еще никогда не видел. Может быть, сеют так, как бабушка втыкает в гряды луковички, чесночины или помидорную рассаду? А может, жито и на нашем поле сеют рано-рано, когда я еще сплю? И потому я застаю его в такую пору, когда зеленые острые травинки уже густо-густо поднялись из черной земли или когда светлые стебли жита шевелятся уже выше моего роста, и всё звенит, светится, и так вкусно, душисто пахнет длинными поспевающими колосьями, будто из печи горячими горбами хлеба...

Но если дедушка собирается показать мне, как люди жито сеют, значит, догадываюсь я, он хочет, чтобы я хорошо-хорошо всё уразумел и запомнил. Как раньше запомнил же его на луговине, среди высокой травы, с косой в руках. Или за починкой сапог, в мастерской. Или на винограднике нашем, когда он подрезал лозы, а я не понимал, для чего им такое наказание, и даже обиделся на него...

И потому я теперь вздыхаю и живо, без запинки, с сознанием важности того, что будет дальше, скатываюсь на дорогу.

Хорошо, дедушка, я не стану больше дуться. Разгляжу-ка лучше, как ты привязываешь к деревянным тележным дышлам концы просторной торбы, чтобы лошади было удобно доставать корм из ее нутра. Или как подволакиваешь по доскам к тележному задку мешок, тяжелый, тугой, возле кото-

рого я только что спал на ворохе соломы. Развязываешь его узел и, накренив, начинаешь ссыпать из горловины светлые продолговатые зерна в плетеную из прутьев кошелку, но не круглую, а будто придавленную с боков, тоже продолговатую, как зерна жита.

Я теперь стану куда внимательней озираться по сторонам. Поле не такое уж пустое, как показалось спросонья. Оно – это мне тоже нетрудно сообразить – совсем недавно вспаханно, и большие сыроватые комья земли уже растормошены бороной.

Невдали от нас останавливается при дороге еще одна телега, и хозяин ее, как и дедушка, привязывает перед мордой своей лошади торбу с овсом, а потом тоже принимается возиться с кошелкой, прилаживая ее лямки себе через голову, чтобы сама ноша, как и у деда Захара, лежала боком на животе.

Но тот человек всё делает один, нет у него помощника, а я-то собираюсь помогать дедушке, хотя пока еще не знаю, как и чем.

Озираюсь в другую сторону, и там тоже телега только что остановилась поодаль, и тоже хозяин ее занялся приготовлениями. И хотя утро серое, прохладное, хотя от земли вокруг нас поднимается густой, острый, будто встревоженный дух, мне становится веселей, оттого что мы тут с дедушкой сегодня не одни, и на поле прибавляется людей.

Тех, кто дальше от нас, и не различишь как следует. Но,

кажется, никто из них не взял с собой в помощники внука или сына. Все они наши, из Фёдоровки, догадываюсь я. Все заняты, нет времени для разговоров.

Вот дедушка перешагивает дорогу, становится к ней спиной. Вот на полминуты замирает с чуть опущенной головой, что-то делает правой рукой (может, мелким крестиком себя пометил?), затем напяливает картуз на лысину, погружает левую руку в кошелку. Вот сосступил с обочины на пахоту и со всего маху, будто невидимой косой поведя, прыскает перед собой наискось горстью светлых семян. Я даже слышу, как звонко и весело звучат они, когда сыплются оземь: «Прысь!»

Еще один шаг, еще загребает в жменю зерен, замахивается... И они снова летят наискось, попискивают.

– Прыс-сь!

Нет, не сверху вниз он машет, а от распахнутого плеча, раздольным боковым махом.

За шагом шаг, за махом мах.

Широко машет мой дедушка, и широко сапоги его расставлены в ходу.

– Прыс-сь!

Радуюсь своему участию в таком необычном опрыскивании земли, я бодро, чуть не вприпрыжку выступаю по следам его сапог. Мне и самому хочется махать руками, даже не одной, а двумя сразу.

Но – через несколько шагов радость моя вдруг замирает.

Нет, не оттого, что земля сырая, а шаг дедов слишком для меня широк. Мне другое непонятно, другое огорчает: почему это он, высевая зерна перед собой, сам тут же и наступает на них? Ну, вот, так оно и есть – в каждом из его следов, вижу, светлеют зерна, втиснутые в землю, – два, три, четыре или еще больше. Разве из них теперь что-нибудь вырастет? А сам я? Прытко ступая за ним, я ведь тоже затаптываю дедов засев! Пусть не все зерна, но много-много.

И зачем ему так стараться? Зачем раз за разом из большой кошелки выгребать пятерней горсти зерен – чистых, ровненьких, одно к одному – и швыркать перед собой в жадную черную землю? Вон ее сколько, земли! Она всё поглотит и ничего уже ему не отдаст. Ладно бы тут куры бегали прямо под ногами, как у нас на дворе, когда бабушка рассыпает для них просо. Шустрые, знаю я их, они и воробья не подпустят, пока не склюют всё до последней желтой крупки.

А здесь? Разве водятся в поле куры-петухи? Зато оглядываюсь и вижу: эге-ге! И откуда только взялись? Какие-то неизвестные мне по именам – серые, черные, кудлатые темные птахи. Копошатся, перелетают с места на место, шастают туда-сюда нахально, всюю поворовывают дедовы зерна.

Нет, они не подбираются к нам так близко, как куры. Но стоит лишь деду отойти подальше от меня, они уже и по его следам скачут.

Ах вы, шкодники! Я хватаю комок земли, кидаю в их сторону, размахиваю руками, громко кричу «кыш!». Вот одна

нахохлилась, трепыхнула крыльями, отпрыгнула чуть в сторону. А остальным – хоть бы что! Нахалки, совсем не боятся.

– Кыш!.. Кыш! – кричу я громче и снова черными грудками пытаюсь отогнать хотя бы тех, что поближе.

Что ж это делается, люди добрые?

Гляжу, и у соседей наших, что свое зерно высевают, тоже птахи разные хлопочут. Экая прорва, всех их разве прокормишь!?

И ведь я же видел: когда бабушка высаживала всякие маленькие семена в гряды, то рыла для них глубокие бороздки, а потом сверху присыпала землей, чтобы никакая птица не достала.

А тут? Беда! У меня уже голова кружится, столько раз вертел ею туда-сюда, махал руками, кричал, комки земли швырял во все стороны, отгоняя прожорливых с их жадными клювами.

За этой заботой я уже и деда Захара теряю из виду. И не сразу могу сообразить, с какой стороны он приближается ко мне. Кошелка уже пуста, висит на боку вверх дном. Мне хочется, чтобы он похвалил меня за старание. Но он почему-то не сердит ни на кого, будто не замечает ни моего недовольства, ни самого птичьего воровства. Походка легкая, скулы покраснели, озорно улыбается, пыхтит себе в усы, будто стакан вина за обедом выпил.

– Добрэ, добрэ...

Я пячусь, уступая ему путь, но сам в недоумении и обиде

остаюсь на месте. Вон где он – уже возле телеги.

Снова доверху заполняет кошелку зерном.

И снова переступает за обочину дороги. Поплыл, раскачиваясь, в мою сторону. Да, теперь мне гораздо лучше видны вольные широкие махи его высевающей руки. И с каждым дедовым шагом всё отчетливей разносится тонкий прыскающий звук:

– Пырк!.. Пр-сс!.. Прск!..

Звонят, будто хохочут, летящие наискось пригоршни.

Что это? Он снова ступает по старым своим следам? Но нет, чем ближе ко мне, тем заметнее он забирает в сторону, так что, когда поравнялись, то до меня долетают лишь несколько зерен из его горсти. Дедушка даже и не глядит на меня. Ему некогда останавливаться, чтобы похвалить меня за то, что так стараюсь распугать незваных птиц. Он дышит ровно и шумно. И мне уже не хочется обижаться на невнимание ко мне. Я уже снова готов согласиться со всем-всем, что он делает.

Нет же, дедушка мой не может делать что-то неправильно, не так, как нужно. Иначе бы и на нашем польце возле хаты никогда не зазеленели бы озимые всходы, никогда бы не поднялась в мой рост густая жаркая челка пшеницы.

И что это я цепляюсь к нему, будто репей к штанине? Когда весной он водил меня на виноградник, мне ведь тоже сначала так хотелось упрекнуть его: зачем вздумал остригать лозы?

... Вот он уже снова удаляется от меня. Но еще слышны его ровные выдохи, слышно сухое потрескивание семян при падении в черные складки земли.

– Пырс-сь!..

И мне вдруг отчетливо вспоминается жаркий летний полдень у Фёдоровской церкви: поп в белой одежде окунает свое кропило в ведро и, широко размахнувшись, кропит колкими холодными брызгами бабушку, меня, всех-всех людей, что тесно стоят вокруг него у криницы. Но все мы так рады этим веселым свежим брызгам, подставляем под них свои лица, протягиваем букетики с маками и чернобривцами...

А дедушка? Он будто тоже кропит. Саму эту черную жадную землю кропит семенами. Вот, значит, как люди жито сеют? Выходят в поле, чтобы всё его окропить зернами.

Я оглядываюсь на наших соседей. Они тоже пошли сеять по второму заходу. А там, за ними еще и еще различаются в поле люди, поменьше ростом. Разве могут все они ошибаться? Разве станут напрасно, во вред самим себе разбрасывать драгоценные зерна – на поклев вороватым птахам?..

Не дожидаясь дедушки, я возвращаюсь к телеге. Мне нетрудно и самому, с помощью колесных спиц, взобраться наверх. Как у себя дома, притуляюсь к серому посконному мешку, уже слегка похудевшему. От него исходит мягкое хлебное тепло, потому что внутри мешка дышат зерна, те, что еще ждут встречи с черной землей. Может быть, каждое из них уже готово упасть в землю, прижаться к ней, пусть и

под дедовым сапогом.

Смотрю в ту сторону, куда всё дальше и дальше уходят люди, – до самого пасмурного неба. Иногда, кажется, чуть начинает накрапывать или пролетает какая-то заблудившаяся белая пушинка. И меня совсем перестают беспокоить птицы. Я же сам только что видел, как земля сразу припрятавает почти все-все зерна – под комочками своими, в малых складках, под малыми грудками, в разных там темных, сырых и теплых щелках. Пусть они и обжоры, эти птахи, но, похоже, почти все уже наелись и отлетели куда-то спать.

Дедушкин коняга всё похрупывает, нашаривает большими губами в торбе что-то там свое, овес или ячмень. А я совсем еще не проголодался, настолько сытен густой дух, исходящий то ли от самой земли, то ли от свертка тканины, в который бабушка Даша наверняка уложила для нас с дедом что-то домашнее, всегда такое вкусное. И мне так хорошо, тихо, спокойно. И даже не вспоминаю больше ни про бабушку, ни про маму, которая теперь далеко от нас, потому что ее перевели на работу в другую школу, в Мардаровку. Ходить туда пешком каждый день ей тяжело – целых три часа в одну лишь сторону надо идти. Часто мне становится грустно оттого, что мама так далеко. И что отец, которого я видел всего два дня, где-то еще дальше, чем мама. Бабушка с дедушкой утешают меня: «Нэ журысь, пойдэш и до мамы, и до батька свого».

А поэтому не стану я напрасно вспоминать про маму и

про отца, про бабушку и Тамарку. Ни даже про деда, ведь он где-то совсем близко. Ни про это поле, такое же бескрайнее, как небо над ним. Небо? Да оно и не кажется мне больше ни чужим, ни холодным, ни хмурым. Оно мягкое, светлое. Оно обволакивает, обнимает меня, угревает, помогает натянуть на себя дедов теплый тулуп.

Ток

Горячим августовским полднем дедушка со своим успокаивающим «тпр-ру», чуть упираясь в землю каблуками серых от пыли чобот, накренив туловище назад и притормаживая вожжами, сводит с дороги к нашему подворью двух запряженных лошадей, а над их крупами и хвостами переливается, жарко пышет, важно переваливается с боку на бок... точно второе солнце. И отовсюду сходится и сбегается, чтобы на диво это полюбоваться, и взрослое, и малорослое наше соседство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.